

Андрей Петрович Старостин

Встречи на футбольной орбите

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

На протяжении многих десятилетий, связывающих меня с футболом, я неисчислимое количество раз пытался ответить на вопрос: в чем же притягательность этого кожаного кудесника – футбольного мяча?

Увы, сколько нибудь убедительного ответа так и не находил. И сейчас не знаю, в чем его магнетизм.

Недавно, прогуливаясь в нашем зеленом парке возле Сокола, увидел на лужайке играющих ребятишек и не удержался, ввязался в состязание. Результат был грустный. Через две минуты я дышал, как рыба, выброшенная на песок, и в ногах ощущал оскорбительную дрожь. «Не тот стал», – подумал я с состраданием к себе, как будто в этом можно было сомневаться до неуместной вспышки моего футбольного азарта.

И я далеко не одинок в своей повышенно эмоциональной восприимчивости к виду футбольного мяча. Вспоминаю такую сценку. Она привела меня в умиление. Мальчишки играли на небольшой площадке, прилегающей к тротуару. Мяч по воздуху летел на прохожую часть, где чинно с портфелем шел почтенный человек. Он мгновенно снял шляпу с головы, по всем правилам футбольной координации широко расставил руки – в одной портфель, в другой шляпа – и в прыжке, ударив мяч лбом, отправил его в лагерь играющих.

Это был «Ваня» – так звала вся спортивная Москва патриарха и зачинателя русского футбола Ивана Тимофеевича Артемьева. Он чуть застенчиво улыбнулся мне, сощутив свои с монгольским раскосьем глаза и сказал, кивая на ватагу играющих ребят: «Нельзя рвать связь времен!»

Такие, как Ваня, связей с футболом не порвут никогда – они ветераны. Надо было их видеть на встрече, организованной редакцией журнала «Спортивная жизнь России» к семидесятилетию отечественного футбола.

Сама история русского футбола делегировала на эту встречу своих лучших представителей.

Вот легендарный ленинградец Василий Бутусов, первый капитан первой русской национальной олимпийской сборной футбольной команды 1912 года. Москвич Валентин Сысоев, про которого в 1913 году журнал «К спорту», комментируя состав сборной Москвы, писал: «... гроза голкиперов Сысоев со своей головой дополнит истинно сильнейшую команду Москвы». В том же ряду Борис Михайлович Чесноков, редактор вышеупомянутого журнала, он же капитан знаменитой команды «Новогиреево». Его прославленные одноклубники и земляки Павел Александрович Канунников, Петр Тимофеевич Артемьев и впоследствии переехавший в Ленинград Николай Евграфович Соколов.

Все их сподвижники по футбольным полям, пришедшие на юбилейный вечер в редакцию, будь то Константин Михайлович Жибоедов, Михаил Павлович Сушков, Константин Степанович Пахомов, Станислав Викентьевич Леута, Казимир Людвигович Малахов или Федор Федорович Чулков, беззаветно любили футбол на протяжении всей своей долгой жизни. Каждый из них мог, невзирая на залысины и седины, со шляпой в одной руке и с портфелем в другой, отпасовать мяч своим внукам и правнукам.

В этом нет ничего удивительного. Кожаный мяч втянул их в свою орбиту с детских лет. Оторваться от этого притяжения они не в силах. Ногами они срослись с кожаным мячом: он их стихия! Мяч у них в крови.

Но чем завлек маленький кудесник миллионы людей самых разнообразных профессий, возрастов, чем заворочил, вызывая бурные клочкотания их сердец и на трибунах стадионов, и у экранов телевизоров, тех, которые с мячом «на ногу» не знакомы, а в детстве этой игры, возможно, и вообще не знали?

У меня на этот вопрос однозначного ответа нет. Находя какие то отдельные черты возможной притягательности, главную причину болельщического гипноза сформулировать не могу. В своей книге «Я болею за „Спартак“ первый тренер сборной команды Москвы М. Д. Ромм пишет: „В чем же эта таинственная, поистине непреодолимая магия футбола? Она и в стремительном полете мяча, и в неожиданном остроумном финте, и в четком взаимодействии одиннадцати игроков, невидимыми тактическими нитями объединенных в неразрывное целое, и в мужественной, жесткой спортивной борьбе, и в загадочных психологических взлетах и спадах, превращающих подчас верную победу в поражение и неотвратимый, казалось бы, проигрыш в ничью, и в тех случайностях – „мяч круглый, а поле большое“, – которые нередко опровергают все прогнозы тренеров и знатоков; во всем этом и еще в одном: в футболе, как ни в каком другом виде спорта, сказывается характер народа. Трезвый расчет и уравновешенность англичан, механическая, жесткая систематичность немцев, артистичность австрийцев, солидность и основательность чехов – все находит отражение в стиле футбольных команд каждой страны...“

Ничего в этой выдержке из книги замечательного футболиста и тренера из числа первого поколения русских мастеров кожаного мяча не опровергнешь. Но и здесь нет ответа на основной вопрос: почему именно в футболе, «как ни в каком другом виде спорта, сказывается характер народа» – ведь и в других игровых видах все вышеперечисленные перипетии борьбы наблюдаются в ходе соревнования.

Может быть, потому, что футбол спорт антипод? Ни в одном другом виде спорта не запрещено пользоваться руками.

Я попытался развить эту мысль в беседе с Михаилом Давыдовичем. Он мне возразил: «Согласитесь, Андрей Петрович, что в будущем футболе техническое совершенство владения мячом ногами будет доведено до степени спортсменов ручников. И что же, гипноз футбола настолько же ослабнет?» – закончил он логическим вопросом свою посылку.

Поскольку я убежден, что дальнейшее развитие футбольной игры будет идти именно в этом направлении и что с ростом технического мастерства зрелищность игры будет возрастать, а значит, и интерес к ней будет прямо пропорционально расти, я вынужден был доказательство «от антипода» признать не состоятельным. Но притягательная сила футбола от этого не становится меньше, а ее таинственная магия остается неразгаданной.

Сколько интереснейших людей приходилось мне встречать, для которых футбол был жизненно необходимой потребностью.

Вот, к примеру, профессор Борис Александрович Петров, один из выдающихся советских хирургов, лауреат Государственных премий, почетный член зарубежных медицинских академий, автор классических операций по пересадке кожи при сильных ожогах, эрудит, поклонник театра, знаток и ценитель живописи, жизнелюб. На восьмом десятке он тяжело заболел. После длительного пребывания в бессознательном состоянии, придя в себя, успел задать только один вопрос: «Как сыграли с „Баварией“?» – и вновь потерял сознание.

Многолетний страстный поклонник футбола, он был близок к большой футбольной правде, когда в застольной беседе о только что просмотренном матче своим звонким баритоном, громко опровергая оппонента, говорил:

– Не надо быть пророком зеленого поля: футбол надо любить сердцем, а не разумом!..

А недавно моя двухлетняя внучка Елизавета, не ведающая о существовании футбола, увидев мяч, заправским ударом ноги загнала его под кровать и долго еще возилась с ним, поддавая ногой, к сожалению, только одной правой (недостаток, свойственный даже таким мастерам, как Беккенбауэр и Ривелино, с той лишь разницей, что первый – правша, а второй – левша).

Что это: зов предков, атавистический момент или наследственные гены? Ответа на вопрос нет. Как говорится – «сердцу не прикажешь».

Я приказать не сумел. И прошел по жизни, шагая с мячом в ногах и в сердце.

Оставляя, таким образом, вопрос об истоках притягательности маленького кожаного волшебника для решения другим ценителям футбола, хочу поделиться с читателем своими впечатлениями об уроках и событиях, пережитых мною, рассказать о себе, о людях, о том, как мне представляется связанное с футболом прошлое, настоящее, в какой то степени и будущее...

Глава 1 ДВУХТЫСЯЧНЫЙ...

Семья наша была своеобразная. Отец и его брат Дмитрий корнями уходили к «псковичам»: к выходцам из Псковской губернии, исстари славившейся своими охотниками егерями по «красному зверю»: медведю, волку, лисице. Целые кланы Зуевых, Лихачевых, Старостиных из поколения в поколение растили мастеров охотничьего дела, зимой промышлявших в лесу, а летом в приречных и приозерных болотах, натаскивали собак по болотной дичи – бекасу, дупелю, вальдшнепу, коростелю.

Помню, что школьником испытывал какую то неловкость, называя профессию отца. «Егерь», – почему то смущаясь, отвечал на вопрос. «Кто, кто?» – нередко переспрашивал школьный приятель. «Ну, егерь, егерь, понимаешь, который охотится». Но спрашивающий, мне казалось, так и не мог понять, почему это мой отец назывался егерь, а не просто охотник.

Необычными были наши семейные отъезды на все лето в деревню. Отцовские четвероногие воспитанники – кофейно пегие пойнтеры, сеттеры гордоны, ирландцы, лавераки, а по нашему ребячьему пониманию соответственно коричневые, рыжие, серые, соединенные попарно смычком, поднимали неистовый лай при погрузке в товарный вагон. Отъезжающая публика с любопытством смотрела на нашу посадочную кутерьму, когда отец со своими помощниками метал вверх очередную визжащую пару легавых, будущих чемпионов на ежегодных Всероссийских полевых испытаниях охотничьих собак.

Совсем непохожим на деревенский устанавливался распорядок в нашей семье, будь то в деревне Погост, где мы селились у родителей матери, в так называемой передней, чистой избе, или в соседней деревне Вашутино, в которой снимали дом у известного художника Кардовского.

Мы были не барчуки, но и не крестьянские дети. Так, что то среднее между ними. Про нас так и говорили – егерские. Если погостовские или вашутинские ребята с ранних лет несли все тяготы деревенских работ, с зарей вставали косить, бороновать, а то и пахать наравне со взрослыми, по заведенному во всех деревенских семьях порядку, то мы это делали, когда захочется, больше из желания похвастаться – «я тоже сегодня косил».

В охотку бывало встать деду в спину и в удовольствие помахать косой или пошевелить граблями скошенную траву на приусадебном участке.

Но одно дело – хочу, а другое – надо. Мишке Марьину, моему закадычному другу, боронить было «надо». А мне хотелось. Я испытывал великое желание поддержать веревочные вожжи в руках и управлять настоящей (!) лошадью, вышагивая сбоку деревянной бороны по вспаханной полосе и, подражая взрослым, покрикивать «Н н но, лентяй!».

Мишка со своей крестьянской сметкой без труда угадывал, чем можно соблазнить городского мальчишку с выгодой для себя.

Вот наш диалог, погостовского и московского парнишек, примерно десятилетнего возраста, с сохранением местного произношения: сельского четко на «о», городского на «а».

– Хочешь проборонить полосу?

– Хачу.

– Поди, неси ситного.

– Ситнава нет. Таболку?

– Поди, неси тоболку.

Я мчался домой, выпрашивал у матери тоболку и совал ее Мишке, в обмен получая вожжи.

Какое ощущение взрослости – дело! Удовлетворение извечной тяги детворы к самостоятельности. От игры – к «всамделишному». Настоящие веревочные вожжи в руках!

Мишка признавался мне, что он также испытывал муки зависти, когда видел, как я несущу за отцом настоящее охотничье ружье, направляясь с собакой на болото.

Ни пахаря, ни охотника из меня не получилось. Но в детстве и юношестве на деревенском приволье я прошел великолепную школу физического воспитания.

Позднее, после смерти отца, в голодное время, когда я за кусок хлеба ходил в пойму косить, изнемогая от усталости и жалящего гнуса – комаров, слепней, паутов, мошкар, когда пахал, из последних сил стараясь удержать плуг в борозде на должной глубине, когда жал и молотил в одном ряду со взрослыми, когда вставал с восходом и ложился после захода солнца в самый длинный день летней страды, только тогда я понял разницу между «хочу» и «надо»...

Отец и дядя Митя были сильными людьми. Двухразовые занятия, как сейчас принято говорить о футбольных тренировках, у наших старших были обязательной нормой. От утренней зари и до вечерней егеря, с перерывом на обед, находились в болотах. С утра на ближней подозере известного Вашутинского озера, вечером на дальней. Они были неутомимы в своих тренерских трудах и заканчивали очередной день словами – «Собаки устали, пора идти домой».

Надо было видеть собак, возвращающихся с натаски. Множество километров они отмахали в поисках дичи, гоняя «челноком» впереди егеря, по кочкам и воде, поперек болота, прочесывая пространство маховыми скачками, методично продвигаясь к цели, как косарь на лугу, – мах влево, мах вправо, только амплитуда маха метров триста туда обратно.

И вдруг... стойка! Словно струна – корпус, вытянута голова, хвост – стрелой, чуть приподнята согнутая передняя лапа, на глазах собака становится длиннее вдвое. Тут уж егерь не дремал: ружье на изготовку, посыл собаки вперед, и дичь не выдерживает. Взлет, выстрел, и вышколенный пес угодливо несет в зубах своему воспитателю «поноску» – бекаса или дупеля.

Отец был отменный стрелок. Бекас – самая трудно поражаемая цель. Он летит от охотника, как говорится, «в угон», выписывая в воздухе синусоиду. Но сколько мне ни приходилось бывать с отцом на болотах, он по бекасу ни разу не «спуделял».

Возможно, этому способствовало несчастье, происшедшее с ним в молодые годы. На садках, подпуская вверх из кювета голубей, отец неосторожно высунулся из укрытия, и поторопившийся стрелок угодил ему дробиной в левый глаз. Теперь ему при выстреле не надо было прищуриваться, а правый глаз был ястребиной зоркости.

Так или иначе, но с охоты он возвращался всегда с полным ягдташем, а похудевшие за рабочий день собаки, прямо таки уменьшившиеся в размерах, плелись сзади охотников, поджав хвосты и едва таща ноги.

Но не таков был Джинал, оставшийся в моей памяти по сие время как злой гений из собачьего мира. Черно пегий пойнтер, статный красавец с породистой головой, Джинал обладал, кажется, всеми самыми отвратительными пороками. Он был ленив и обжора. Коварная изворотливость напрочь лишила его добросовестности. Скрытная злобность дополнялась у него необузданным подхалимством.

Пользуясь силой, которой он был награжден с избытком, этот лентяй первым, расталкивая остальных, кидался к отцу лизнуть руку, чтобы выпроситься на болото. Но когда, еще не будучи до конца разоблаченным, он прибывал на подозеру, то вместо работы «челноком», нарушая элементарные требования тактики поиска, едва передвигался ленивой трусцой в разных направлениях, впуская дичь и демонстрируя ко всему прочему полное отсутствие чутя. Он доходил до такой наглости, что позволял себе во время натаски сесть на кочку отдыхать. Для сравнения представьте себе футболиста, прилегшего на поле отдохнуть во время матча.

Этот пес был способен на все. Возвратясь с охоты отдохнувшим на свежем воздухе, он громче других собак лаял, требуя немедленной кормежки. Бросался к котлу с неудержимым

напором и жрал пшенный суп с конским мясом, заглатывая куски не прожевывая, давясь, не давая конине даже остынуть, что лишало его мало мальского чутья.

Джинал стал проблемой целого лета. Он не поддавался исправлению. Смирел после взбучки арапником, жалобно подвывая во время наказания. Но ни лени, ни обжорства, ни подхалимства, ни коварства не сбавлял и по прежнему исподтишка кусал за ухо соседа по кормежке, если тот вдруг нацелился на облюбованный им кусок.

Судьба Джинала стала ясна, когда он сильно прокусил ногу самой талантливой суке Леде, стоявшей первым кандидатом на золотую медаль в предстоящих испытаниях.

Чашу отцовского терпения переполнил проступок, квалифицирующийся егерским уставом для охотничьих собак как самое тяжелое собачье преступление. Джинал на охоте сожрал подраненного бекаса и, несмотря на отчаянные приказы егеря: «Даун!.. Даун!..» – сбежал домой.

Отец доложил владельцу Прохорову Василию Васильевичу о полной непригодности собаки для охотничьей дрессировки, и тот махнул рукой: делай, мол, Петр Иванович, с ней, что хочешь.

Джинала решением семейного совета приговорили к изгнанию из охотничьего собачника, и он был передан во владение Кольке Злобину, бездомному деревенскому бродяге. Колька хвастался, что на ярмарке в селе Романово, расположенном по другую сторону Вашутинского озера, он продал Джинала за десять рублей местному священнику.

На наши опасения, что Джинал прибежит обратно, отец шутиливо, но не без оснований замечал, что пес слишком ленив, чтобы всю подозеру преодолеть. Впоследствии доносились слухи, что Джинал у романовского батюшки всех кур переел и посажен на цепь.

Джинал стал именем нарицательным во всей последующей жизни нашей семьи. Когда ктонибудь нарушал установленные нормы – в голодное ли время за обедом или в чем либо другом, казавшемся предосудительным, – то следовала укоризненная реплика: «Ты что, Джиналом стал?»

В более поздние времена нерадивое отношение к футбольной тренировке или тем более к самой игре вызывало гневный окрик – джиналишь!

Весь быт семьи, подчиненный требованиям профессии, сама охотничья среда создавали в доме атмосферу постоянного спортивного азарта.

Волнения и споры вокруг предстоящих полевых испытаний с обсуждением возможных победителей очень схожи по темпераменту со спорами накануне футбольных турниров высшего ранга. Конечно, тогда, в мальчишеском возрасте, я не понимал значения тех или иных событий и степени их воздействия на мое сознание. Но опыт, почерпнутый из жизни старших, никогда бесследно не пропадает.

Старшие соревновались постоянно. Летом спорили, кто будет лучше: Микадо дяди Мити или Леда отца, а может быть, Ягуй дяди Фрола Зуева или Ром его брата – дяди Кирсана; зимой – кто искуснее обложил выводок волков.

Когда эти мощные здоровяки собирались вместе и громогласно разбивали «в пух и прах» доводы конкурента, причем никакие родственные соображения в расчет не принимались, я со всей силой мальчишеской убежденности верил в победу отца. У меня были к этому основания. Перечисляя знаменитые фамилии егерей, автор отчета Московского общества охоты за 1907 год пишет: «...из этой плеяды мы должны выделить Петра Старостина...» С тех пор как я себя помню, отец считался самым одаренным егерем, даже по признанию самого дяди Никиты – патриарха псковичей окладчиков.

Сидят, бывало, за самоваром. Посредине стола дядя Фрол, самый старший. Пьет чай из личной, с собой принесенной большой кружки, по староверскому уставу. Рыжий, головастый, с рыжей окладистой бородой, на крутом лбу крупные капли пота – сколько чашек выпито, не сосчитать, – и вещает хриловатым баском, в широченной улыбке показывая плоские, желтые, редко посаженные зубы, будто деревенский палисад:

– Пойнтер у меня – нету равных! Вот истинный бог, нету равных, – и прикладывает ко лбу два пальца, прямых, толстых, негнущихся – ни дать ни взять два городка.

– Да не Джиналом ли звать твоего пойнтера то, – иронически подшучивает отец.

А дядя Митя, непримиримый в своей убежденности, что только, мол, он или брат Петр могут претендовать на золотые медали, как бы снисходительно соглашается:

– Если Джинал, так твой кобель, Фрол, в самом деле всех побьет, – и, выждав паузу, добавляет: – По обжорству!

Громче всех, как обычно, смеется дядя Кирсан, брат Фрола, тучный светловолосый добряк, с лицом Портоса, приговаривая:

– Да ну вас к бесу, всем медалей хватит.

Много я слышал таких споров. Замечал при этом, что отец не любил наперед забегать, делить шкуру неубитого медведя. Но уж если говорил, что такой то кобель или сука – будущий призер, то не помню, чтобы ошибался. Во всяком случае, непогрешимость отца в суждениях такого рода у меня сомнений не вызывала.

Соревновательный дух, царивший среди старших, глубоко проник в наши ребячьи сердца. Я в конечном счете состязался всю сознательную жизнь, то есть столько, сколько себя помню. Всегда хотелось быть лучшим. Позже убедился, что не чрезмерное честолюбие двигало моими чувствами. Наверно, это естественное желание каждого мальчишки, но подогреваемое окружающими. Отец поощрял единоборство между братьями.

Я легко побивал Петра на пари: кто дольше протерпит, не дыша. Противник раздувал щеки, голова начинала трястись, лицо становилось багрово красным, а мои легкие еще были полны кислорода. Его же я побеждал и в сгибании согнутой в локте руки, опирающейся на угол кухонного стола, который Петру был до подбородка. «Сдаешься?» – спрашивал я его, припечатывая тыльную часть руки брата к дощатому столу. Недостигаем для своего постоянного противника был я и в упражнениях со «снарядом». Лежала у нас во дворе чугунная до рыжины проржавевшая гиря. Она потеряла свое значение в лавке бакалейных товаров, но для наших соревнований была пригодна. Гиря, весом около десяти фунтов, много лет служила нам и ядром для толкания, и молотом для метания, и штангой для выжимания.

Миф о собственной непобедимости развеялся, как только я стал соревноваться в более высоком разряде, со старшим братом Александром. Меня с ним разделяли по возрасту те же три года, что и с Петром. Крепко сбитый, для своего возраста дюжий подросток, Саня расправлялся со мной гораздо легче, чем я с Петром. Именно это обстоятельство я переживал больше, чем сам факт поражения. Петр выжимал гирю десять раз, я – пятнадцать, а Саня – двадцать пять.

Я так же, как младший брат Петр, напрягался и дрожал всем телом, чтобы сократить разрыв, но выжать лишний раз гирю не мог. Дух пока был бессилен победить материю: рыжая гиря сопротивлялась человеку. А Саня, выжав снаряд двадцать пятый раз, победоносно улыбаясь, точь в точь как я в соревновании с Петром, спрашивал: «Хватит или еще?»

Несколько утешало, правда, что Саня в свою очередь терпел неизменные поражения «по всем видам спорта» от Николая, который был старше его на один год.

Как сейчас вижу наш двор, обсаженный шеренгой тополей, вдоль которой мы мчимся, выясняя наши спринтерские способности: впереди на прямых, не сгибая в коленях, ногах отец, полностью пренебрегающий методическими указаниями Николая «выше колена», за ним методист, свято следующий теории и чуть ли не бьющий коленками по собственной челюсти, далее мы в соответствующем возрасту порядке – Саня, я и Петр. А сбоку с залихватским лаем свора легавых питомцев во главе с подхалимом Джиналом, мчащимся, заложив уши, в ногу с отцом.

Размеренная деревенская жизнь егерей в летнее время, с твердо установившимся режимом натаски собак, с двухразовым выходом на болота, вдруг нарушалась приездом владельцев пойнтеров и сеттеров. Господа нередко прибывали в Погост на собственных автомобилях, поднимая переполох в деревнях, лежащих на Ярославском шоссе.

Истошно кричали крестьянские ребята: «танобиль», — издалека заслышав оглушительное тарахтенье автомашины. Лошади шарахались на обочину, испуганно мычали коровы, взлетали вверх ошалело кудахтающие куры, когда, поднимая пыль столбом, к нашему дому подкатывали господа.

Из автомобиля выгружались корзины «от Елисеева» с закусками и винами, саквояжи с охотничьим обмундированием и зачехленные ружья. Господа надевали короткие охотничьи куртки, натягивали специальные болотные сапоги, с длинными голенищами выше колена и с непромокаемыми головками, перекидывали через одно плечо ягдташ, через другое двустволку и в сопровождении егерей с собаками отправлялись на подозеру.

Иногда маршрут удлинялся до дальних болот у реки Нерль, близ дачи Ф. И. Шаляпина. Пальба охотников с ближней подозеры доносилась до деревни — значит, возвратятся «с полем» с удовлетворением говорили домашние, заслышав выстрелы.

Посмотрев своих собак в работе, оценив их достоинства по чутью, стилю поиска, послушанию и прилежанию, поделившись впечатлениями от охоты за заставленным елисеевскими яствами столом, гости прощались с егерями и с тем же оглушительным тарахтением мотора ранним утром уезжали в Москву.

Приближалась самая ответственная и волнующая пора — полевые испытания. Всероссийская слава кофейно пегих пойнтеров Микадо и Рокета, выдрессированных дядей Митей и отцом, с приближением срока испытаний все чаще служила в разговорах егерей отправной точкой для оценки возможностей новых четвероногих питомцев. Рекорд Рокета — 90 баллов по 100 балльной оценке, при 23 из 25 возможных за чутье считался недостижимым.

Отец с дядей жили дружно, но спор, кто был лучше — Рокет или Микадо, — носил непримиримый характер. В запальчивом принижении собачьих достоинств шли в ход самые сильные эпитеты. Послушать, так оба чемпиона Джиналу в подметки не годились. На самом деле, в книге «Полвека работы с легавой собакой» (Ленинград, 1938) приводится ответ отца владельцу Рокета — Р. В. Живаго: «Не мне учить собаку, а мне учиться у нее; я ничего подобного не видел...»

Но вот проходили испытания. Обычно они проводились в районе Люберец, Косино, в те времена не близкое Подмосковье. Появлялись новые чемпионы, возникали новые споры, радостно приподнятые по тону при победах, сурово критические при поражениях: «благородные судьи» — в первом случае, «судьи — прохвосты» — во втором.

На смену лету с бекасами и дупелями приходила зима с волками и лисицами. Фауна в егерских делах сменялась, сменялась и флора. Заливные луга, подозеры, приречные болота, кочковатые, с мелким кустарником, некрасовские просторы, где дальний лес в синей дымке на горизонте являлся только фоном, с наступлением зимы уступали ему место, и уже только лес становился главной ареной событий.

В тамбовские, брянские, смоленские леса отправлялись на розыски красного зверя егеря окладчики. Соревнование в искусстве организации охоты не уступало по спортивному накалу соревнованию на лучшую дрессировку собак. По сути дела, зимняя охота требовала больших профессиональных знаний, чем летняя, и была связана в определенной степени с риском. Волк не бекас. Охота на него требует длительной подготовки. Во всяком случае, в былые времена, когда технический прогресс не распространялся на охоту, волк запросто не давался. Сейчас дело нехитрое: с вертолета перестрелять волков. Тогда же егеря, как и волка, «кормили ноги».

Одним словом, и летом, и зимой егеря придерживались одного правила: «сколько походишь — столько найдешь». И по болотным кочкам и по заснеженному лесу исхаживали они неисчислимое количество верст. «Вынослив, как егеря пскович», — говорили в охотничьем мире Москвы.

Истари волк для крестьянина был страшным врагом. Сколько лошадей задрал, сколько телят, овец перерезал! Исчислялись эти лесные четвероногие хищники только в Центральной России тысячами.

В отличие от большинства школьников, моих сверстников, знакомых с волчьими нравами и повадками по литературе самого разного жанра, от басни до сказки, от «Красной шапочки» и «Ивана царевича» до сентиментально драматического стихотворения «Жил был у бабушки серенький козлик», я волчью душу знал по рассказам егерей.

Что за егерь, если не умеет подвывать волков. Запомнилось, как однажды, подывая стаю, отец и дядя Митя так увлеклись переключкой, что не заметили, как стало смеркаться. Опомнились только тогда, когда внезапно наступившая тишина могла означать лишь одно: стая близко, отзыв ей уже не нужен. Уже замелькали со всех сторон красные угольки волчьих глаз: звери вкруговую опоясали квартал, в котором находились егеря. Просчитавшимся охотникам пришлось искать убежища на верхних сучьях старой сосны.

Холодок пробежал по спине, когда дядя Митя с отцом вели рассказ об этом вынужденном испытании. Большой выводок, голов девять, вплотную окружил дерево. «Радиус метров пять семь, – уточнял отец. – Свались на землю – и прямо на клыки». Свыше двух часов продолжалось сидение. С приближением ночи мороз крепчал. Руки и ноги каменели. Держаться на суку становилось труднее. Волки же сидели, задрав головы, и немигающими глазами смотрели на обреченных. Пространство, их разделяющее, на уровне прыжка с шестом. «Не знаем, – говорили отец с дядей Митей, – чем бы все это кончилось, если бы Максим Евсеевич не помог».

Максим Евсеич – местный егерь, русский богатырь, как говорится, косая сажень в плечах, живший в своем доме на отшибе и готовивший приваду на волков, был милейший хлебосол, известный всему московскому охотничьему миру. Нам, ребятам, он запомнился тем, что, приглашая отца к себе и стараясь выказать самое искреннее расположение, говорил: «Приезжайте, Петр Иванович, приезжайте, мы завсегда вас примем очень холоднокровно».

Озабоченный долгим отсутствием егерей, Максим Евсеич поспешил в деревню, быстро организовал облаву и двинулся на помощь осажденным.

Не реагиовавшие на отчаянные, во все легкие крики пленников с дерева, волки отступили только тогда, когда слышали звуки облавы и выстрелы вооруженной команды Максима Евсеевича.

Больше всего на слушателей действовала последняя деталь этой страшной истории: когда подоспела подмога, братья со своих сучьев камнем повалились вниз, к счастью, уже не на волчьи клыки, а на руки спасителей.

Вместе с тем хищность волка осознавалась мною несколько притупленно. Быть может, острота восприятия снижалась тем, что убитые волки лежали у нас в московском доме в холодных сенях по несколько дней, дожидаясь отправки в мастерскую по выделке шкур и поделки чучел. Бегая через сени во двор то за дровами, то за керосином в чулан – для быстроты операции, чаще всего босиком, – приходилось наступать необутой ногой прямо на промерзлое брюхо лежащего волка. Попирая поверженного хищника голой мальчишеской ступней, я подсознательно недооценивал злую силу жизни.

В год рассказанной истории, еще в самом начале осеннего сезона Московское общество охоты охватил спортивный ажиотаж. На очереди стоял двухтысячный волк. Подсчитывали количество волков, недостающих до юбилейной цифры. Прогнозировали возможную дату банкета по этому поводу. Называли вероятных лауреатов «двухтысячного», главным образом из числа московских богачей, купцов, фабрикантов, промышленников.

С каждым днем нарастал спортивный азарт вокруг «двухтысячного». Этой теме дань отдавали все в доме.

Я не сомневался, что егерем лауреатом будет отец. Но кто будет лауреатом стрелком? Ведь от этого зависело благополучие семьи.

Несмотря на то что братья Старостины были знаменитые егеря, приглашались на организацию охоты на волков по придворному протоколу, жалованье они получали весьма скромное от Московского общества охоты. Хотя оно и было, как обязательно добавлял дядя Митя – «имени императора Александра II», – заработок егерей от этого не увеличивался и сбережений никаких иметь не позволял.

Общество предоставило братьям ссуду на постройку маленького дома на Пресненском валу. Задолженность еще не была погашена. Предстоящий зимний сезон с его юбилейным волком многое обещал: убьет волка Прохоров – гора с плеч! О волках, один из которых рыскал еще со своей стаей в брянских или тамбовских лесах, не подозревая о собственной значимости, без конца говорилось в домах, клубах и ресторанах столицы.

По несколько раз в день звонили к нам по домашнему телефону члены клуба, директора распорядители – Б. Д. Востряков и в особенности Б. М. Новиков. Уточняли достоверность поступающих с мест телеграмм, писем и сообщений, присланных с нарочным, о наличии волков в той или иной местности.

Запись желающих принять участие в данной охоте регулировалась распорядительным комитетом, в зависимости от количества номеров, которое определял егерь, ведущий розыск и подготовку охоты в определенном лесном районе.

Дядя Митя и отец, еще по чернотропу, разъехались на розыски. Это значит, опять подвывать волков, обследовать местность, где они будут обнаружены, привадить их к наиболее удобному и изученному участку леса, для чего нужно купить у живодера прирезанную лошадь и положить в намеченном месте. Убедиться, что волки повадились на приваду, и, наконец, как можно точнее определить их количество. Непростое это дело: волки ходят по лесу нога в ногу, оставляя за собой на снегу как бы прометанную стежку. По глубине и ширине следа и устанавливают егеря число голов в стае.

Дядя Митя держал курс на угодыя мультимиллионера П. И. Харитоненко. Известный сахарозаводчик ни с кем, кроме него, не охотился.

Удача обещала егерю крупный куш в виде так называемых наградных непосредственно от стрелка, если ему на мушку попадет именно «двухтысячный». Размер денежного приза по условиям конкурса устанавливался самим лауреатом. Официальное небольшое награждение от правления общества в счет не шло. Главное упование было на тугую мошну богачей. В кулуарных разговорах денежные тузы охотничьего мира – братья мануфактуристы Сергей, Владимир и Александр Рябовы, Владимир и Алексей Грибовы, Павел Харитоненко и их ровня – называли такие суммы, что егеря говорили о них шепотом. Но всем было известно, что Павел Иванович Харитоненко в горячке клубного застольного спора выпалил: «Десять тысяч не пожалею». Эта фраза стала сакраментальной в егерских предзимних обсуждениях охоты на «двухтысячного».

Отец вынужденно держал сторону своего кума, главы мануфактурной фирмы «Братья Грибовы» – Алексея Назаровича. Ресторанный завсегдатай, оплачивавший стол за ночной кутеж по тысяче рублей, в трезвом виде не больно раскошелялся. В пьяном угаре настоятельно напросившийся крестить меня: «Ты что, Петр, Грибова обидеть хочешь?» – он, на страх матери, чуть не уронил новорожденного у купели. Так что надеяться на моего крестного миллионера в случае успеха дела особо не приходилось. Правда, говорили, будто бы и он похвастался, что от Харитоненко не отстанет. Так или иначе, но не считаться с ним было нельзя. Большой вес среди московских богачей, да к тому же необузданный нрав кутилы, обеспечивали ему место для участия в любой охоте.

Крестный приехал к нам на собственном автомобиле, шумливо и покровительственно оповестил отца: «Так я с тобой, Петр, на двухтысячного – помни!» – и огромный, статью и всем обликом похожий на Шаляпина с кустодиевского портрета, в шубе с бобровым воротником шалью, нараспашку, выгромоздился из дому и, заломив на затылок меховую шапку «боярку», укатил, оставив впечатление, что наша маленькая столовая стала как будто больше.

Финишировал он плохо. Его красавица жена сенсационно покончила с собой вместе с влюбленным в нее молодым человеком. Крестный загулял. Разбил, скача на тройке, насмерть крестьянку. Был привлечен к суду, но откупился. И вскорости умер в одночасье за обеденным столом, протянув руку за бокалом с вином.

Пока же он был в числе претендентов на успех в охоте за «двухтысячным» не без шансов, потому что отменно стрелял из своего великолепного штуцера.

Был еще один член общества, постоянно ездивший с отцом. Он занимал особое место в общественных кругах Москвы. Инженер по образованию, из хорошо обеспеченной семьи, Василий Васильевич Прохоров входил в число первых русских авиаторов. Он летал на собственном самолете, затрачивая большие средства на ремонт и восстановление своего аппарата, кажется, типа «Фарман». Нередко он заезжал к нам забинтованный после очередной аварии. В нашей столовой висел подаренный им снимок с надписью «И в Сибири люди жить привыкают»... На фото – разбитый летательный аппарат вверх колесами, рядом стоит Прохоров и его коллеги по воздушному спорту, авиаторы Ефимов и француз Пэгу.

Вспоминая об этом, отчетливее представляешь, какой огромный путь отделяет тебя от тех событий. Улыбающийся Прохоров около скапотировавшего аппарата. Наши отцы смотрели со страхом на это происшествие. Сейчас я улыбаюсь так же, как Прохоров на фото шестьдесят лет назад. Потому что понимаю: «Фарман» тогда летал со скоростью до сорока километров в час. Надпись на снимке была оправданной: «Сибирь» ассоциировалась с понятиями – гибельный край, дремучая тайга, лютые морозы, каторга. Сейчас такое представление о Сибири сегодняшней молодежи покажется неправдоподобным.

Прохоров всегда вызывал у меня чувство восхищения. Сильный, смелый, он отличался от верхушки московских богачей, к которым принадлежал, простотой обхождения с людьми. Господа – члены общества обычно с повелительными интонациями в голосе обращались к егерям на «ты» – «Петр», «Дмитрий», «Кирсан», «Фрол», – Василий Васильевич же называл егерей по имени и отчеству, дружелюбно здороваясь за руку.

Среди членов общества охоты он не был популярен. Бывали случаи, когда какойнибудь из снобов, увидев в числе записавшихся на охоту фамилию Прохорова, надменно заявлял: «Демократ тоже едет, нам не по дороге»... – и от охоты отказывался.

В своей замечательной книге «О людях, о театре, о себе» В. В. Шверубович очень верно пишет, вспоминая о Прохорове, дружившем с Василием Ивановичем Качаловым: «...Это был человек огромного темперамента, жизнерадостности и жизнелюбия. Физически он был могуч, здоров и вынослив почти нечеловечески. В него стреляли в упор, он получил несколько ран, они зажили. На самой заре авиации он приобрел во Франции самолет, научился летать на нем и разбился при этом сам, пролежал несколько месяцев – и полетел снова, и снова разбился. Чуть не утонул, так как пролежал под обломками самолета, рухнувшего в реку, несколько часов в воде, и... снова летал, как только оправился. Он был охотником. У нас были чучела убитых им огромного волка, рыси, шкура медведя...»

Василий Васильевич был широкий человек, деньги тратил легко и после революции, оставшись без средств, в уныние не впал. Как известный персонаж пьесы Погодина, стал на Арбате торговать пирожными домашнего изготовления, а в дальнейшем благодаря своим знаниям и энергии занял должность инженера в ВСНХ.

В те же времена, о которых я вспоминаю, он был в силе и рассматривался егерями заманчивым участником предстоящей юбилейной охоты. Отец видел в нем будущего лауреата конкурса на двухтысячного волка, не сомневаясь при этом, что Василий Васильевич поедет добывать приз именно с ним.

Когда пришла депеша (так называли тогда телеграмму) от Максима Евсеича, «волки приважены приезжайте», отец, прочитав, усмехнулся, досказав: «мы вас всегда примем очень хладнокровно», и довольный стал собираться в дорогу.

Выезду на охоту всегда предшествовала серьезная подготовка. Проверялись, при нужде ремонтировались, широкие охотничьи лыжи, ходовая часть которых была по всей длине подбита лосиной шкурой, ворсом по ходу охотника – чтобы в гору лыжи не соскальзывали. К паголенкам валенок пристегивались надшивки из драпа, крепившиеся сверху у пояса, на случай глубокого лесного снега. Заряжались картечью патроны. Возлагалась работа и на младшее поколение: распутовывание бечевки с красными флажками и аккуратная увязка флажков в огромные мотки, удобные для развешивания в лесу при окружении волчьего выводка. Длина такой бечевы с флажками, пришитыми к ней на расстоянии полутора аршин

один от другого (с собственным размером флажка вершков двенадцать в длину да восемь десять в ширину), составляла много сотен погонных саженой.

Волк что бык – красного цвета не переносит, только с той разницей, что быка красный цвет злит и он атакует его бескомпромиссно, волка же красный цвет пугает и он от него трусливо бежит.

И того и другого человек побеждает, используя его природную слабость. Бык, изможденный в борьбе с призрачными врагами – красным плащом тореадоров и мулетой матадора, валится замертво от удара шпаги. Волк, трусливо убегающий от красного флажка, падает, сраженный наповал выстрелом из штуцера. И коррида, и охота требуют профессионального мастерства и тщательной подготовки.

Впоследствии, собираясь в поездку на какое нибудь ответственное соревнование по футболу и готовя спортивные доспехи, я всегда буду испытывать чувство взволнованной озабоченности, вызванное сознанием причастности к важному событию. Это, видно, отголоски детства, когда вместе со своими братьями я распутывал бечеву с красными флажками, готовя западню для лобастых хищников с пушистыми хвостами, которые чуть не съели моего отца и дядю Митю.

Перед отъездом на охоту, будучи уверен в ее благополучном исходе, отец (после семейного совета) пошел на огромный расход: призяв денег, купил матери сак – предмет мечты модниц того времени. Саком называлось каракулевое полупальто, сшитое в талию. Законодательницей фасона считалась известная баронесса Корф, первой появившаяся на собачьей выставке в модном саке. Покупку привезли домой, ввиду торжественности мероприятия, на извозчике. Отец расплачивался с «Ванькой», а мать уже несла через двор в лубочном коробе, напоминающем футляр гитары, драгоценную вещь, сияюще улыбаясь и не замечая от радости уставившихся в окно домочадцев, с нетерпением ожидавших возвращения родителей из магазина.

– Привезли, сак привезли! – слышалось в доме искреннее ликование, еще более возросшее, когда мать вышла в обнове для обозрения. В каракулевом полупальто, купленном у «Мюра», как сокращенно называли москвичи самый большой универсальный магазин по фамилии хозяев французов «Мюра и Мерилиза», ныне ЦУМ, она выглядела весьма элегантно. Одобрение было всеобщее.

Лишь один дядя Митя иронически произнес: «Баронесса!»

Отец, словно оправдываясь в затратах, превышающих возможности семейного бюджета – «облава то – восемь ртов», – похваливал покупку и, подбодряюще похлопав смущенную мать по плечу, отшучивался: «А чем мы хуже баронов то? На волков небось вместе ездим». Он явно рассчитывал на успех в конкурсе. Волк, мол, все покроет.

Отец так обложил выводок волков как раз в том квартале, где отсиживался со старшим братом на сосне. На этот раз красные флажки вкруговую опоясали хищников. Куда ни ткнутся – везде заслон.

Депешами были оповещены господа охотники. Предполагался гон семи восьми голов. Соответственно было рассчитано и количество «номеров», то есть мест, где расставлялись стрелки.

К обозначенному дню охоты выяснилось, что безудержно «загудел» по ресторанам крестный Грибов. Еще не вышел из больницы после очередной аварии Прохоров. На забронированные для них номера никто приехать не успел. Но к крайнему разочарованию отца появился Моржковский. Тот самый Моржковский, о скупости которого ходили в охотничьем мире анекдоты.

Каким то образом он сумел втиснуться именно на охоту, готовившуюся отцом. Невзрачный, сухощавый, с лисьей физиономией, этот господин расплачивался с «облавой» сам, не доверяя егерям, причем торговался с крестьянским людом до изнеможения, «до гроша».

Именно он первым и уложил наповал матерого волка, по которому кто то «спуделял» с мертвой дистанции. Такова уж была воля случая, или судьба, как хочешь, так и определяй.

В довершение к этому дядя Митя, охотившийся с Харитоненко и тоже добывший «своего» волка, опоздал всего на два часа с уведомлением о состоявшемся отстреле.

Жены ждали результатов этого волнующего дня с большим нервным напряжением, но по отсутствию депеш от мужей чуяли недоброе. По тем временам хозяйкам наводить справки о результатах охоты с участием их мужей считалось неделикатным. И несмотря на то что егеря наутро прибыли «с полем», бросив убитых волков в сених московского дома, по лицам егерей было видно, что с вопросами надо повременить.

Звание лауреата двухтысячного волка присудили Моржковскому.

Призрачные надежды, что скопидом Моржковский вдруг высоко оценит старания егеря – «не такая же он свинья», – рухнули, как карточный домик. Моржковский отвалил отцу в запечатанном конверте пятьдесят целковых, большую часть из которых надо было заплатить живодеу Назарке за купленных у него на приваду лошадей, съеденных волками.

– За пуговицы не хватит заплатить, – мимоходом заметил дядя Митя, намекая на каракулевый сак.

А матерый лобастый волк, задубевший от мороза, лежал в наших холодных сених и ждал отправки по указанию лауреата «двухтысячного» в мастерскую для выделки из него чучела.

Отец не скрывал досады, озабоченный проблемой сака, вдруг обернувшейся угрозой финансового краха для семейного бюджета. Возвращать его обратно было зазорно. Самолюбие не позволяло. Мать не рада была дорогой обновке. Допуская возможность возврата сака в магазин, она не только не надевала его, но и руками боялась трогать. И теперь, поглядывая на висящий в гардеробе сак, вздыхала, приговаривая, что уж лучше бы его совсем и не было.

Юбилейные торжества закончились большим банкетом в ресторане «Метрополь». На огромном снимке, врученном на память и отцу, за накрытыми буквой «П» столами на сто персон во фраках, смокингах, визитках, сюртуках сидят члены общества с правлением в центре, а на председательском месте восседает Моржковский. После долгих препирательств он согласился внести деньги распорядителю вечера за участие в банкете, но выговорил себе право занять центральное место за столом.

Егеря шеренгой стоят сзади стола за спинами членов правления. Отец не любил этот снимок. На вопрос, почему он стоит, а не сидит, коротко отвечал: «Каждый на своем месте».

Многое уходит из памяти, может быть, и более серьезное, важное, но все, что связано с этим юбилейным волком, сохранилось в ней зримо и отчетливо.

До этого события все казалось просто. В моем восприятии действительности никаких неясностей не возникало: отец – знаменитый егерь, самый главный охотник, он и победил всех – лежит ведь в сених двухтысячный волк. А в доме уныние. Раздражительность отца, за малейшую шалость – грозное: «Встань в угол!» Не такое уж это легкое наказание для мальчишки, когда стоишь за дверью в углу, носом упираясь в стенку, а братья в это время собираются на каток; выдавить же из себя: «Па, прости, я больше не буду» – не позволяет ребячья амбиция.

Одним словом, назревший в доме экономический кризис давал о себе знать во всем. В заборных книжках мясника Золотова и бакалейщика Иванова, которые отпускали нам продукты в долг, записи «за мясо», «за масло», «за сахар» заметно сократились. Мать скрупулезно, до единой копейки, подсчитывала расходы за день. Стали дольше сумерничать: «керосин даром не дают». А впереди весна с немалыми расходами на переезд в деревню.

Материальные дела нашей семьи поправились с помощью Василия Васильевича Прохорова. Он приехал к нам домой, выйдя из больницы после очередной аварии своего биплана. Сверкал белозубой улыбкой, приглаживал копну серебристых волос, разобранных на косой пробор, и, энергично потирая руки ладонь о ладонь в предвкушении испытать радость, просил отца организовать охоту на волков.

– Пэггу тоже поедет, – многозначительно подмигивая, говорил он. – Это тебе, Петр Иванович, не какойнибудь Моржковский.

Французский спортсмен авиатор, приезжавший в Россию перед империалистической войной, «ас», как говорили тогда, удивлял москвичей на Ходынском поле мастерством высшего пилотажа. Его небесные виражи, спады и взлеты по прямой вызывали восхищение многочисленных зрителей. «Бекас, чистый бекас!» – восклицал дядя Митя, придя домой после выхода всей семьей по приглашению Прохорова, «на полеты воздухоплавателей».

Вскоре охота состоялась и была вполне успешной. «С полем» возвратился в Москву Прохоров. Убитые волки и лисы, по заведенному порядку, лежали в снях и ждали дальнейшей процедуры – выделки шкур или поделки чучел.

«Своего» волка взял и Пэгу. Над этим курьезом всегда весело смеялись, когда вспоминали про охоту с французским гостем.

Волк вывалился из леса прямо на номер авиатора. Он целит, нажимает собачку, а выстрела нет. «Думаю – осечка», – рассказывал отец, уточняя, что он в этот момент стоял для страховки за спиной основного стрелка. Когда уже больше ни мгновения медлить было нельзя, отец выстрелил из своего ружья и сразил волка наповал. Радости Пэгу не было границ. Он пребывал в уверенности, что волка настиг его выстрел из второго ствола. Отец в лицах показывал, как охотник, с размаха бросив ружье в снег, кинулся к волку, воздев руки к небу, и с криком: «Браво, Пэгу» стал весело приплясывать вокруг добычи, аплодируя сам себе за одержанную победу.

Отец поднял ружье француза и, сняв цевье, взглянул в излом: стволы блистали первозданным сиянием – ружье перед охотой не было заряжено.

Василий Васильевич с присущим ему тактом привел мотивы, вручая отцу крупную сумму наградных за организацию «охоты с Пэгу», подчеркнув: «Это, Петр Иванович, за „двухтысячного“».

Пэгу увез в Париж выделанную шкуру «своего» волка. А несколько позже Прохоров вручил отцу присланное из Франции двуствольное, штучное, и потому особенно дорогое, ружье центрального боя одной из лучших европейских фирм «Голянд Голянд». Разглядывая подарок Пэгу, дядя Митя убежденно сказал: «Француз комедию ломал: он наверняка знал, что волка ты, Петр, уложил».

Вопрос так и остался неразгаданным: знал Пэгу или не знал, что не он убил волка. Но так или иначе, а именно эта охота сняла проблему сака. Мать перестала говорить «пропади он пропадом» и на масляной неделе впервые отправилась в нем в манеж на Моховой, на одно из модных развлечений всей Москвы того времени – собачью выставку...

Эти невыдуманные истории из своеобразного быта егерей псковичей удержались в памяти до сего дня. Раз запомнились, значит, чем то были поучительны. Так мне кажется. Потому что, уйдя впоследствии с головой в мир футбола, я вдруг иногда сквозь шум трибун и стук мяча слышал лай Джинала и подвывание «двухтысячного».

Я уже говорил, что на футбольную орбиту вышел не сразу. Со свойственной молодости пытливостью искал удачи во многих видах спорта. Участвовал в соревнованиях по лыжам, легкой атлетике, боксу, теннису, пинг понгу и нигде чемпионских лавров не снискал. Футбол постепенно вытеснил другие виды спорта, оставив место только хоккею.

До середины тридцатых годов многие видные футболисты играли в хоккей. Летом – кожаный мяч, зимой – плетеный. Ленинградцы Михаил Бутусов, Павел Батырев, Модест Колотушкин, Владимир Воног, Петр Филиппов, Валентин Федоров, москвичи Михаил Якушин, Сергей Ильин, Серафим Кривоносов, Павел Коротков, Аркадий Чернышев входили в составы сборных команд Ленинграда и Москвы по обоим видам спорта. Николай, Александр и я тоже на протяжении многих лет входили в составы сборных команд Москвы и зимой и летом.

Однако футбол к началу розыгрыша клубного чемпионата страны не оставил универсалам времени для хоккея. Узкая специализация стала неизбежным требованием большого спорта. В былые времена лыжи и легкая атлетика, велосипед и коньки были родственными видами, поскольку многие чемпионы и рекордсмены совмещали выступления

на беговой дорожке стадиона – летом и на лыжне – зимой или соответственно на треке и на ледяной дорожке катка.

Теперь сезонных видов не стало. Футбол тоже стал круглогодичным и совместительство с хоккеем упразднилось. Возник вопрос о заполнении зимнего времени, о поддержании спортивной формы. Для всех видов спорта я считал основой успеха в предстоящем старте – быть в хорошем физическом состоянии.

Но какими средствами осуществляется классическая формула «В здоровом теле – здоровый дух»? Я искал ответа, наблюдая за тренировками братьев Знаменских, Николая Королева, Ивана Аниканова и других видных спартаковских спортсменов. Средства применялись самые различные и в их многообразии плутали футболисты, отыскивая свою систему тренировок.

В этом отношении конный спорт мне всегда представлялся видом соревнований, где можно получить ответ на вопросы, связанные с подготовкой организма к высшим испытаниям на выносливость.

Глава 2

ПОРЯДОК БЬЕТ КЛАСС

Не могу точно вспомнить, когда я впервые попал на ипподром. Может быть, это случилось в тот незабываемый для лошадиников день, еще в дореволюционное время, когда в отчаянной схватке на беговой дорожке между знаменитым Крепышом и Дженоераль Эйчем в очередной раз вспыхнул жаркий спор о преимуществах метисной и орловских линий рысистого коня.

Во всяком случае отчетливо помню себя с отцом, держащим меня за руку, в очереди, протянувшейся во всю длину аллеи, ведущей от Петербургского (ныне Ленинградского) шоссе до беговых трибун.

Такое скопление народа могло быть вызвано только выступлением «лошади века». Этот титул заслужил сын Громадного и Кокетки, нескладеха жеребчик, вислозадый, с несоразмерно длинными ногами, косолапаящими на шаг, презрительно названный Караморой и отданный в свое время бесплатно, в придачу к проданному косяку.

Лишь к пяти годам Крепыш развился в серого красавца рысака, поражавшего знатоков конного спорта мощью и резвостью своего бега. Более славного представителя орловских чистопородных рысаков не было за всю историю их существования.

Про Крепыша писались книги, стихи, исследования. Имя жеребца не сходило со страниц спортивной и общей прессы. И он действительно достойно сражался с вывезенными из Америки, тоже знаменитыми ипподромными бойцами дореволюционного времени – Боб Дугласом, Джон Мак Керроном, Гей Бингеном и их сверстниками.

В упомянутом заезде на дистанцию полтора круга – 2400 метров – американский рысак вышел победителем, опередив орловца на два корпуса.

Шум и споры как на трибунах ипподрома, так и в печати долго не прекращались вокруг этого исторического матча. Резкость и непримиримость суждений обуславливалась тем обстоятельством, что на Крепыше ехал Вильям Кэйтон, а на Дженоераль Эйче отец Вильяма – Франк. Подвергалась сомнению чистота езды. Нашлись очевидцы, которые якобы «своими ушами слышали», как грозно «цыкнул» на сына Франк при выходе на финишную прямую. После чего Вильям будто бы резко осадил Крепыша, по беговому говору, «взял на себя».

Обвинения в родственном сговоре подкреплялись и неоправданной тактикой бега. Такой, мол, непревзойденный мастер своего дела, действительно наездник высшего международного класса, и вдруг всю дистанцию ехал «ухо в ухо», вторым колесом. Отыскивались и дотошные математики, точно определившие, что за три поворота Крепыш прошел дистанцию на несколько метров длиннее, чем проигранный отрезок.

Слава Крепыша после этого поражения не померкла. Он утверждал ее с каждым последующим выступлением, продолжая устанавливать новые феноменальные рекорды и

летом и зимой. Один из них – 2 минуты и 0,8 сек. по льду – отличный результат и для сегодняшнего дня.

Владельцы Крепыша, Шапшал и Катлама, взяв очередной реванш у представителей американской линии, провели своего серого гиганта перед переполненными трибунами в шелковой попоне победителя приза с вытканной на ней надписью: «Смеется тот, кто смеется последним».

На протяжении многих десятков лет, что я посещаю бега, эти «смеющиеся последние», то есть победители, неизменно менялись. Чаще ими бывали представители метисной породы, рысаки, происходящие от скрещивания американской и орловской кровей. Не так уж редко брали реванш и чистопородные орловцы, выигрывая отдельные призы высшего ранга, в том числе и самый почетный, ранее называвшийся «Дерби», ныне «Большой Всесоюзный».

Но не борьба селекционеров, вернее, не только их борьба за доказательство преимуществ своей породной линии привлекает и пожизненно приковывает интерес любителей к беговому спорту. Что то неизъяснимо волнующее таится в этих рыжих, вороных, серых, гнедых, четкой рысью, без права на ошибку – галоп или иноходь, – стремящихся по беговой дорожке к финишу, к победе.

Помимо увлекательного зрелища, меня постоянно занимал, прямо таки интриговал вопрос, так сказать, непохожести лошади на себя в отдельных заездах. То она легко побеждает, то в этой же группе остается последней, даже тогда, когда интересы наездника стоят вне влияния каких либо «свинцовых мерзостей» сговора, так называемой «левой езды».

Исаак Эммануилович Бабель, любивший лошадь большой любовью своего доброго сердца, утверждал, что хороший человек не может не любить коня. В ложе беговых трибун он часто говорил: «Лошадь, как и человек, обладает той же „гармонией чувств“. И на интригующий меня вопрос, распустив по лицу обаятельную бабелевскую улыбку, „полную губ“, отвечал вопросом: „А разве вы в любом матче одинаково играете?“

Его вопрос бил в цель без промаха. Не только на себе, на примере самых выдающихся футболистов я убеждался в нестабильности уровня выступлений. Подобно игроку, «проваливались» и команды. Но это был вопрос, а не ответ.

Мой родственник и друг Павел Матвеевич Чуенко, один из лучших представителей наезднической элиты, прошедший школу соревнований «с самими Кэйтонами», дал по этому поводу безапелляционное заключение. Оно было столь же лаконично, сколь и непонятно для непосвященного: «порядок бьет класс!»

В этой классической формуле, выведенной вековым содружеством зоотехнической науки с опытом выдающихся тренеров наездников, содержится ключ к разгадке сенсационных результатов, на мой взгляд, в любом виде спорта.

Изредка эта формула применяется в футбольных обзорах и обсуждениях игры, но в искаженном понимании ее первого слагаемого. Под «порядком» подразумевается вся организация работы коллектива, в том примерно смысле, как хозяйка говорит о порядке, заведенном в доме.

В беговом деле «порядок» – физическое состояние лошади. Насколько ее сердечно-сосудистая система и костно-мышечный аппарат соответствуют боевым требованиям, настолько она в порядке. И вот, если лошадь более классная по кровям и более резвая по рекорду на данный час находится «не в порядке» – не миновать ей быть в «побитом поле», то есть претерпеть поражение.

Суждения Исаака Эммануиловича были абсолютно спортивными. В тотализатор он не поставил ни копейки и потому был свободен от обиды или преувеличенного восторга в характеристике той или иной лошади.

Ценить рысак в зависимости от собственного проигрыша или выигрыша в данном заезде – свойство подавляющего большинства посетителей ипподрома.

– В лошади высоко развито чувство преданности человеку, – делился своими наблюдениями за лошадьми, приобретенными во время пребывания в Первой Конной армии, Бабель.

– Но от лошади можно требовать не больше, чем она может дать, – соглашаясь с ним, добавлял Павло. – Помните Корнета?

О бегах я помнил многое. Всесоюзные праздники рысистого коннозаводства, когда разыгрывался приз для класснейших рысачов четырехлетнего возраста, всегда были большим событием в конном спорте. Праздничная обстановка царила в день «Дерби» на ипподроме. Зеленые газоны, цветочные клумбы, возможность свободно пройти на круг в перерыве между заездами, когда мимо тебя мчатся статные красавцы рысаки, под управлением наездников в разноцветных, ярких камзолах, «разминающие» своих питомцев перед очередным стартом, духовые оркестры, заполняющие паузы, фанфары, вызывающие на дорожку участников заезда, – весь этот шумный красочный спектакль на открытом воздухе погожего летнего дня второго воскресенья июля привлекал на ипподром огромные массы посетителей. Такие впечатления у людей, любящих спорт, не забываются.

Я помнил всех довоенных победителей «Дерби», начиная с 1922 года, когда после долгого перерыва, вызванного хозяйственной разрухой, Наркомзем восстановил рысистые испытания на Московском ипподроме. Видел, как в первом официально открытом после революции призе «Дерби» победу одержала кобыла Брысь под управлением И. И. Кочеткова.

Мне довелось быть свидетелем спортивных сенсаций на беговой дорожке ипподрома, рождавшихся в самых, казалось бы, неподвижных обстоятельствах.

В «Призе Республики», разыгрываемом на дистанции 2400 метров, гнедой жеребенок Алойша, выступавший под управлением первоклассного наездника Александра Сорокина, после команды стартера «пошел» сделал свечку: вздыбился во весь свой огромный рост, грозя обрушиться на качалку с наездником. На трибунах раздался многотысячный вскрик удивления и досады. Алойша теперь был «битый» фаворит: во всех кассах ставки в тотализаторе в подавляющем соотношении делались на него. Конкуренты, достойные состязаться с ним на равных, убежали уже далеко, а норовистый жеребец упрямо приплясывал на задних ногах, не желая двигаться вперед. Наконец Алойша принял старт. На глазах у зрителей происходило спортивное чудо. Гнедой жеребец, бывший, казалось, в безнадежной позиции, стал пожирать пространство с какой то неукротимой энергией. Впечатление было такое, что все свое упрямство он переключил на другую цель – догнать убежавших.

Алойша сделал невозможное: догнал! Но более того, он нашел в себе достаточно сил, чтобы перегнать. Когда он финишировал, шаг за шагом выдвигаясь из общей группы вперед, на трибунах творилось что то невообразимое. Он таки стал победителем заезда, доказав недоказуемое, что безнадежных положений в спорте нет, пока не кончилось соревнование.

Когда гнедой рысак, потемневший от пота, с ключьями падающей изо рта белой пены, со своим наездником Александром Александровичем Сорокиным, человеком небольшого роста, казавшимся рядом со своим питомцем совсем миниатюрным, совершал перед трибунами круг почета, получая самые восторженные овации зрителей, народный артист СССР Михаил Михайлович Климов, дружественно расположенный ко мне и хорошо знавший отца по совместным выездам на охоту, утирая платком слезы умиления, говорил: «Несравненно, дружок мой, несравненно!»

Обсуждая события дня, Сорокин отзывался о победе Алойши коротко исчерпывающе: «Классный жеребенок, был в великолепном порядке».

Не забудешь и неожиданного выигрыша приза «Дерби» Хозяином под управлением замечательного тактика езды Степана Филипповича Пасечного. Никем накануне старта не принимавшийся в расчет гнедой сын выводного американца Боб Дугласа, Хозяин уверенно первенствовал в обоих гитах с рекордной резвостью. Конечно, после розыгрыша приза находились «знатоки», отроду не державшие вожжи в руках, кричавшие «я говорил», «я

знал», «я считал». Их много в каждом виде спорта. Но, по сути дела, никто не знал фактического «порядка» жеребца, кроме, может быть, самого наездника.

После выигрыша приза Степан Филиппович говорил, что по «порядку», мол, накануне видел – с жеребенка можно спросить в беге столько, сколько надо.

Не мог я не помнить и о Корнете.

Был такой серый жеребенок, сын Воина, основоположника целой линии рысаков орловской породы. Корнет – так себе конь, из середнячков, никаких рекордов не ставил. Но в руках находился у знаменитого Михаила Дмитриевича Стасенко, наездника, многократно выигрывавшего как «Дерби», так и другие именные призы высшего бегового ранга. И прославленный темно гнедой Гильдеец, давший высококлассное потомство, и рыжая Баядерка, и серая Горта, и множество других резвачей рекордистов прошли через руки Михаила Дмитриевича за его шестидесятилетнюю практику по тренингу рысака и испытания его на скорость и выносливость.

Специалисты считали, что у маститого наездника жесткие руки, лошадь слишком строго управлялась и, может быть, поэтому на ходу питомцы Стасенко не гляделись так красиво, как, скажем, бежали рысаки у Павла Беляева. «Как часы», – говорят о таком ходе беговики.

Шел рядовой беговой день. Никаких именных призов особого значения не разыгрывалось. Но приятно было сидеть в ложе, при отличной солнечной погоде, в окружении людей, любящих спорт, по влечению сердца посещающих трибуны ипподрома, так же как и трибуны стадиона во время футбольных матчей.

В ложе как раз возник спор о слабом выступлении «Спартак», последовавшем за хорошей победой.

Ветеран русского футбола Евгений Захарович Архангельский, сверстник и одноклубник по «Новогирееву» Бориса Чеснокова, Павла Канунникова, братьев Артемьевых, приверженец конного спорта еще со времен Крепыша, с высот своего футбольного авторитета громил и тренеров, и игроков спартаковцев: «В наше время не так играли».

Басистый Арнольд Григорьевич Арнольд, в прошлом популярный эстрадный танцор, затем изобретательный режиссер в коллективе Л. О. Утесова и в Госцирке, о котором в своей книге «Спасибо, сердце!» Леонид Осипович пишет: «...Его уже нет, к сожалению, с нами. Но память о нем всегда живет среди тех людей, кто сталкивался с ним в творческих исканиях...»

С Арнольдом меня связывала многолетняя дружба. Мы были одновалентны по отношению друг к другу: оставаясь вдвоем, мы совсем не тяготились вдруг возникающим молчанием, и увлечения наши совпадали. Футбол стоял на первом месте. Арнольд в молодости подвизался на футбольных полях Киева, по свидетельству Володи Агатова, автора известной песни «Темная ночь», он, длинноногий и быстрый, получил кличку «Пинчер». Однако тяга к искусству победила. Но не настолько, чтобы погасить привязанность к футболу и конному спорту. Картинки из театральной жизни он умело и остроумно переводил на обсуждающуюся тему – в данном случае – спартаковские перепады в игре. Арнольд отослал нас к великому русскому трагику Павлу Степановичу Мочалову, напомнив о взлетах и падениях в его творчестве. Рассказал, как замоскворецкий купчина из партера закричал артисту, своему должнику по лавке, в восторге чувств за доставленное удовольствие: «По мясу квит!», а на следующем спектакле Мочалов мог услышать: «Плати за мясо!»... Так, мол, и «Спартак» играет только по вдохновению.

Однако дискуссию резко прекратил звонок, вызывающий лошадей на старт. Среди группы участников появился и Корнет. Он хорошо гляделся на предстартовой проминке: легко отвечал на посыл наездника, весело помахивал хвостом и прядал ушами – признаки хорошего настроения лошади.

Высокого роста, тонкий, как лоза, стартер Обезьянинов, в костюме, напоминающем наряд горца – длинная блуза, перетянутая тонким ремешком с насечками, неширокие брюки в сапоги и легкая кубанка на голове, – стоял на судейской вышке, подняв руку с красным флажком.

Шеренга участников для принятия старта с хода двинулась в направлении стартера, равняясь на лошадь, бегущую по бровке.

– Полевые, тише, – истошно кричал Обезьянинов, выравнивая рысаков, как огромную свечу держа флаг в вытянутой руке. Лошади, с трудом сдерживаемые наездниками, дробно топоча, подходили к стартовой линии. Но одна из полевых все же вырвалась вперед. Обезьянинов, оставаясь недвижим, как обелиск, отчаянно громко, на высоком фальцете закричал: «Наз а а а д!!!» Это был фальстарт.

Рысаки легким тротом двинулись на исходные места, послушно подчиняясь вожжам наездников, которые в свою очередь неукоснительно следовали отрывочным указаниям стартера – «в спину», «ворочь», «подавайте».

Во второй раз нарушителем оказался Корнет. Он резко с поля бросился вперед, стараясь обеспечить себе выход на бровку. Но Обезьянинов был начеку, опять тем же истошным криком «Назад!» зафиксировал нарушение: «Стасенко, не вырывайте – пуцу сзади!»

После неоднократных фальстартов система наконец сработала. Когда лошади без явных нарушений правил подошли к линии старта, Обезьянинов вдруг, словно складной аршин, согнулся в коленях, завалил корпус назад и, опустив резким движением руку с флагом вбок, до земли, заголосил: «Поше о о о л!!!» Тут же раздался протяжный звон судейского электросекундомера – рысаки устремились по широкой беговой дорожке к первому повороту.

Бег возглавил Корнет. Он довольно резво провел первую четверть круга, израсходовав более высокий по сравнению с другими рысаками запас энергии, чтобы захватить бровку. На противоположной прямой ему пришлось увеличить скорость, так как конкуренты с поля сильно наседали на лидера. Серый жеребенок ясно выделялся первым и у полукруга, где заканчивается вторая четверть. При входе во второй поворот признаки усталости едва проглядывались: круп рысака чертил в воздухе не строго прямую, горизонтальную, линию, а несколько вибрирующую. Однако Корнет и третью четверть закончил впереди остальных, показав на ней наилучшую резвость.

– Встанет в обрез, – пробасил Арнольд.

– Пожалуй, перепейсил, – согласился авторитетный ценитель рысистых и скаковых лошадей Сергей Александрович Эльдаров.

Кто то, играющий на Корнета, недовольно буркнул:

– Закаркали.

Шла обычная разговорная сумятица, возникающая в моменты спортивных кульминаций, когда суеверие, апломб, дилетантство и знание смешиваются в один несвязный гул голосов, усиленный эмоциональным возбуждением.

Корнет же не сдавался, хотя теперь уже стало ясно – бежит на пределе возможностей. До финиша оставалось рукой подать, и он еще возглавлял бег, не уступая наседавшим конкурентам и с поля и по ключу (выем внутрь поля от бровки, дающий возможность лошади, идущей в спину за лидером, при выходе из поворота на финиш обходить впереди идущего с левой стороны).

Но нам не суждено было узнать: остался бы Корнет победителем или уступил соперникам у самого выигрышного столба. Во всяком случае он не сдался. Будучи еще впереди всех, серый жеребенок вдруг зашатался и безжизненно рухнул на беговую дорожку, вытянув голову в направлении финишной ленты. Корнет пал, вызвав тяжелый вздох сострадания у всего ипподрома, лошади «не хватило сердца», как говорят специалисты конного спорта.

Корнет проследовал мимо выигрышного столба в ветеринарно лазаретном фургоне, в который его на наших глазах погрузили. Он закончил беговую карьеру, как римский гладиатор, сражаясь насмерть. Призовую качалку вез конюх, рядом в черном камзоле шел, сняв белый наезднический картуз, Стасенко. По его продубленному до красноты ветром и солнцем лицу, иссеченному глубокими морщинами, катились слезы.

Что это – бабелевское «высоко развитое чувство преданности», или чуенковское «от лошади можно требовать не больше, чем она может дать», или, проще говоря, не было должного «порядка», то есть Корнету не хватило тренировочной работы? Мы судили, рядили по этому поводу, не находя исчерпывающих ответов, а судейский колокол уже вызывал участников на беговую дорожку для старта очередного заезда.

Через несколько дней я отправился к Александру Григорьевичу Бондаревскому. Одноклассник Арнольда по киевской гимназии, вспоминая молодость, говорил: «Вместе с Пинчером играл в футбол». Сын состоятельных родителей, имевших свой выезд, он подкатывал к училищу на кровном рысаке, сидя на «козлах» с вожжами в руках, с кучером, занимавшим места для господ. Юношеское побуждение покрасоваться перед гимназистками, с шиком прокатить их по Крещатику переросло в увлечение лошадью, а потом и в неугасимую страсть. Отец, известный юрист, видевший в сыне будущего владельца солидной нотариальной конторы, «чуть не упал в обморок», когда сын по окончании гимназии заявил: «Хочу быть наездником».

Ко времени нашего знакомства, а затем и сближения на почве пристрастия к лошадям и футболу он уже был мастер наездник, прошедший ученическую школу под руководством Стасенко. Отец его умер в годы гражданской войны, а шокированная поначалу выбором «кучерской профессии» мама впоследствии с интересом наблюдала из ложи за выступлениями сына на беговой дорожке, делая ему рекомендации лишь по части покроя и сочетания цветов камзола – «нельзя же надевать безвкусицу».

Он любил футбол не меньше, чем я конный спорт. Разговаривать нам было легко, если не считать, что я все время хотел говорить о бегах, а он о футболе. Но язык был общий, так сказать, футбольно беговой. Ход футбольного матча пересказывался беговыми терминами, заезд разбирался футбольными.

Например, на вопрос Бондаревского, как сыграл его любимый «Спартак», достаточно было сказать: «Проскачка», или: «С места до места». В первом случае это означало, что безнадежно проиграл, во втором – убедительно выиграл. Он утверждал, что категориями беговых понятий можно доходчиво объяснить любую тему. Не знаю, как насчет всех других, но что касается темы футбольной, то с ним нельзя не согласиться.

Недавно я смотрел футбольный матч. Встречались две команды, разные по классу. В переводе на беговой язык у одной личный рекорд на 1600 метров две минуты десять секунд, а у другой – две минуты двадцать. В первом тайме более классная команда играла с преимуществом и выиграла два ноль. Во втором преимущество перешло на другую сторону. Игра, по сути дела, шла в одни ворота. Счет стал три два в пользу менее классной команды.

Я внимательно смотрел эту игру. Мой угол зрения на происходящее преломлялся через беговую дорожку, Я видел, что более классная команда повела игру с преимуществом – «захватила бровку».

Затем она забила гол – «оторвалась на столб» (осветительные столбы, расставленные на беговой дорожке примерно на расстоянии 35 – 40 метров).

К перерыву счет стал два ноль: «у полукруга на два столба впереди». Казалось, лидеру не составит труда довести дело до конца, «до финишного столба».

Но вот во второй половине игры у классной команды появились признаки усталости, футболисты стали допускать больше технического брака: «врут ходом». Вскоре в их ворота влетел гол: «задние наседают, а ехать еще далеко». За двадцать пять минут пошла отбойная игра, на удержание счета: «не доведут, перешли на шлапак». Последовал второй гол, а за ним, за минуту до окончания матча, победный третий.

На разборе игры тренеры отметили отсутствие взаимосвязи, нарушение игровой дисциплины, большой технический брак, вялый темперамент: «такой бесклассице проиграть...»

А «бесклассица» без устали носилась по полю, с первой до последней минуты игры, хрестоматийно доказывая, что «порядок бьет класс!».

Допытываясь у Бондаревского, какими же средствами достигается и определяется этот пресловутый «порядок», я попросил практически познакомить меня с наездническим тренингом рысака. Сознаться, решился я на это испытание не без душевной борьбы. В детстве приходилось и в ночное на неоседланной лошади выезжать, и навоз в поле на телеге возить, и полевые работы вести с вожжами или плугом в руках, но все это неторопливое поспешание. Здесь же – рысаки, соревнования скорости и силы. Я уже насмотрелся всевозможных аварий на дорожке и в призу и на разминках.

Перед глазами стоит сшибка экипажей в повороте, когда взмыла вверх стиснутая с боков качалка с мастером наездником Н. Р. Семичевым, а сам он с высоты спикировал прямо под ноги двигающейся сзади группы рысаков.

– Легко отделался, – отшучивался Николай Романович, кивая на сломанную руку.

Трагически закончилась славная карьера другого мастера наездника И. Д. Назарова. На старте для рысаков элитного класса ему пришлось резко приостановить свою любимую, знаменитую по выигрышам больших призов, в том числе и «Дерби», серую кобылу Былую Мечту: с поля, «подрезая» ей ноги в погоне за бровкой, устремился другой рысак, грозил неминуемый сбой. Кобыла вздыбилась от сильного упора на задние ноги и зависла в воздухе, замерев на какое то мгновение в вертикальном положении. Но центр тяжести перешел критическую точку, и Былая Мечта осела всей тяжестью на оказавшего внизу наездника, сдавив ему грудную клетку своим мощным крупом.

– Кобыла то не виновата, я сам вожжи перетянул, – теряя сознание, оправдывал свою любимицу наездник.

Но, назвавшись груздем, надо лезть в кузов. К пяти часам утра я появился в конюшне у Бондаревского. Она размещалась в центре лошадиного царства, раскинувшегося в тылу Ленинградского проспекта, от Белорусского вокзала до ипподрома. Свыше трех десятков зданий барачного типа, с фрамугами вместо окон, закреплены за самостоятельными тренерскими отделениями, во главе которых стоит мастер наездник, бригадир.

Это особый мир, со своим колоритом, ритмом жизни, размеренным более чем вековой традицией испытания рысистой лошади на ипподроме.

В конюшне Бондаревского, как и во всех других, никакой суеты, беготни, торопливости. Все делается степенно, мерно, по часам. Задается корм, готовится упряжь, убираются денники. Темп как бы определяется монотонно приглушенным звуком – хрустом лошадей, поедающих овес. Конь ест в отличие от собаки сдержанно, деликатно. Неповторимый запах смеси лошадиного пота, корма, навоза густо висит в воздухе. Именно он, этот, не побоюсь сказать, аромат, вызывает волнующее ощущение, переселяет тебя в другой, необычный, романтически увлекательный мир.

Тот же букет запахов волновал мое детское воображение при первом посещении цирка. Стараясь выказать себя бывалым лошадиником, я вместе с Бондаревским вошел в денник к серому красавцу Володару. Но нервный сын Воина так перебирал задними ногами, что, поспешно ретировавшись, я решил в другие денники не заходить.

Началась сборка лошадей для работы. Одна из них предназначалась для меня. Это был гнедой трехлеток, кажется Гвидон по кличке, которого я знал по беговой дорожке. Он неоднократно выступал, правда, без особого успеха, однако был довольно резвый для своего возраста.

– Сегодня пошагаете, – сказал мне Тихон Иванович Максимов, обходительный конюх, много лет работавший с Бондаревским. «Как это – „пошагаете“? – подумал я. – Рядом с лошастью, что ли?»

– Для начала сегодня пошагаешь, – подтвердил появившийся Бондаревский, – с Тихоном Ивановичем вместе.

Я уже хотел взорваться: мол, пошагать то я и дома могу: не для этого же я в четыре часа утра с постели вскочил, но Бондаревский успел скомандовать: «Садись на Гвидона».

Когда я уместился в качалке, чуть вверх и вперед ноги, почти касаясь ими крупы Гвидона, и заполучил в руки вожжи, то прилив восторга отбросил меня на четвертьвековую дистанцию: Мишка Марьин, борона, вожжи, лошадь!..

Однако постепенно мой кураж шел на снижение. «Пошагать лошадь» – профессиональный термин. Ездок сидит в качалке, а лошадь шагает. Необходимый компонент тренировки, но нудный. Мы «шагали» с Тихоном Ивановичем ежедневно часа по два. Присоединялся к нам и «сам». Сидя бок о бок в качалках и вышагивая по дорожке бесчисленное количество кругов, я постигал премудрости достижения высших физических кондиций у рысака.

Потом я стал «работать» Гвидона «в размашку», то есть рысью со средней скоростью. Я жаждал езды, когда рысака можно запустить из всех сил. И наконец дождался, Бондаревский сказал: «Сегодня работаем „в резвую“».

Всю ночь шел дождь. Дорожка была грязная, но на кругу работа шла полным ходом. Мы развернулись по всем правилам старта, набрали скорость, «сам» на своей резвой лошади старшего возраста быстро двинулся вперед, а мы с Тихоном Ивановичем с поля поспешали за ним. Комья грязи полетели мне в физиономию, залепляя предусмотрительно надетые очки, которые очень ограничивали зрение. При том же в Гвидоне пробудился инстинкт соревнования, и им с каждым шагом все больше овладевал азарт: жеребец неистово тянул вожжи, и к полукругу я подъезжал весь покрытый грязью, с простоволосой головой (кепку сорвало ветром) и совершенно онемевшими от перенапряжения руками. Чем больше я старался удержать Гвидона вожжами, тем упорнее он их тянул. Сложность моего положения усугублялась тем, что сзади я слышал топот других лошадей, а Бондаревский и Тихон Иванович были далеко впереди. Знаешь, что лошадь на любом аллюре на упавшего на землю человека не наступит, но топот сзади все равно покою не дает.

И в этот самый момент, когда я почувствовал, что беспомощен полностью, что сейчас неминуемо свалюсь в грязь, под копыта, вдруг пришло облегчение. Вожжи ослабили, руки ожили, топот сзади прекратился: это Гвидон подхватил меня «на унос» и помчал полевым галопом мимо что то испуганно кричащих мне Бондаревского и Тихона Ивановича. Я почти ничего не видел и совсем ничего не соображал, держась, сколько позволяли силы, за петли вожжей.

Не знаю, чем бы это дело кончилось, если бы Гвидон не оказался умнее меня. Доскакав до поворота с круга в конюшню, жеребенок перешел «на размашку» и, сменив рысь на шаг, остановился у самых конюшенных ворот, доставив меня до места, с которого я отправился на круг, воображая себя Вильямом Кэйтеном.

Все закончилось хорошо. На конюшне за завтраком после утренней работы стоял громкий хохот. Бондаревский уверял, что на ипподроме появился новый наездник – «лохматый, в черной маске», насмерть перепугавший Гвидона. Кажется, вместе с нами ржал и Гвидон.

Я не собирался менять мяч на вожжи, поэтому не был слишком огорчен неудавшейся «резвой работой». Я получил основное, чего добивался: познакомился, как говорится, с черного хода с методикой подготовки живого организма к высшим физическим напряжениям и к бегам не охладел.

Наверное, это наследственное увлечение. Отец и дядя Митя были неизменными посетителями ипподрома, Помню, с каким бравым видом они отправлялись на ипподром, досконально изучив афишку, а главное, надеясь на «сказал». Это сакраментальное «сказал» относилось к дальнему родственнику и другу нашей семьи Матвею Ивановичу Чуенко. Отец упомянутого выше Павла Матвеевича Чуенко, известный до революции наездник.

Матвей Иванович, загорелый до кофейного цвета, черноусый, коренастый украинец, был не очень говорлив вообще, а по части «сказал» в особенности. В то время наездники в тотализаторе заинтересованы не были. Крупные денежные призы и жалованье от владельцев вполне обеспечивали их бюджет. Да и строгий запрет общества на этот счет удерживал наездников от игры. Поэтому Матвей Иванович, говоря о конюшенных делах, ограничивался

уклончивыми ответами «как сложится бег», «много от погоды зависит» и чтонибудь неопределенное в этом же роде. Но когда ронял «моего не выкидывайте», это уже значило «сказал».

По возвращении с бегов дядя Митя еще с порога громко возглашал: «От Матвея, что от козла молока». Но бывали случаи, когда независимо от Матвея егеря «угадывали». Тогда успех неизменно отмечался – на столе появлялось лом печенье из розничного магазина при фабрике Сиу (ныне «Большевик»), колбаса, ветчина от Чичкина, бутылки с клюквенным квасом Калинкина. Вино в доме бывало только на рождество и на пасху. Оживления за столом хватало и без горячительных напитков. Лошадников роднит с охотниками и футболистами обилие азартных бездоказательных споров. Повышенная возбужденность обуславливается издержками по тотализатору. Из чисто спортивных побуждений на бега ходит незначительное число людей. Многие же, в той или иной степени, как говорят, «тотошники». Из них подавляющее большинство – легко недомогающие. Они несут обычные издержки тотализатора, но глубоких травм домашнему бюджету не наносят.

Однако есть и сжигаемые страстью к игре, верящие в возможность обогащения на бегах. В этом виновата не лошадь. Закроют бега, они найдут другое место, где можно «поставить» – карты, бильярд, домино, номер купюры, автомашины, наконец, кто дальше плюнет. В мире играющих такого рода «болельщиков» называют «сухой алкоголик».

Вот невыдуманная история о человеке, однажды спустившемся в подвал бильярдной при гостинице «Метрополь». В годы нэпа в этой бильярдной шла игра на крупные деньги. Все мастера кия с присвоенными им в кругу «играющих» псевдонимами «Бейлис», «Лебедянский», «Бузулуцкий», «Саратовский», в последующем чемпионы страны по бильярдному спорту, разыгрывавшемуся в тридцатых годах, с их настоящими фамилиями, соответственно Николай Березин, Николай Ольховиков, Василий Кочетков, Виктор Пономарев, показывали там свое артистическое исполнение ударов по шару во всем их многообразии – резаные, с оттяжкой, корамбольные, ползунки, клопшотсы, оборотные. На их игру можно было смотреть часами.

Появившийся в бильярдной respectable вида с бородкой «буланже» среднего возраста человек (как впоследствии выяснилось, он занимал солидное служебное положение), почтительно принятый маркером, сыграл две три партии, откланялся и, благовоспитанно пожав маркеру руку, ушел. За короткое время он стал завсегдатаем бильярдной. Сделался безотказным партнером «на любой куш».

Вскоре он стал завсегдатаем и бегов. Энергично сновал в членских местах, разыскивая нужного букмекера. За порывистость в движениях, неудержимость нрава его прозвали «Алойша». Букмекеры остерегались принимать от него ставки, подозревая его связь с наездниками и жокеями.

По прошествии некоторого времени от его respectableности не осталось и следа. Среди «играющих» людей, для которых игра была профессией, пронесся слух – «Алойша пустошвили»: надо сказать, в этом кругу иронические словообразования кличек на редкость точны. Наш герой говорил с грузинским акцентом и с деньгами у него действительно стало туго. На ипподроме появилась его жена, внушительная дама, и, довольно активно действуя, принудила Алойшу отправиться с ней домой.

Но к началу очередного заезда его уже видели порхающим с этажа на этаж. Надвигался финансовый крах. В кредит не верили. И он решил, как позже мне рассказывал, «поправить дела одним ударом». Договорился с пятью участниками заезда выпустить худшую лошадь на первое место. Но когда лошади подходили к столбу в обусловленном порядке, «какая то кляча вышла вперед». Его «заложил» предпоследний по шансам участник, рассудивший, что раз три фаворита не едут, а последнюю «неходячку» он сам легко обыграет, то ему выгоднее найти другого хозяина.

Старая как мир перепродажа обусловленной беговой сделки доканала игровую карьеру Алойши, а вместе с ней и служебную. Он оказался растратчиком.

Впоследствии, отбыв срок наказания, он превратился в бегового «жучка». Перевоспитания не произошло: микроб «сухого алкоголизма» поразил его необратимо. Игра в любом проявлении стала его стихией. Он услужливо бегал в кассу, выполнял просьбу взять билет, ходил за папиросами, торговал с наценкой афишками. Семья – жена и дочь – махнула на него рукой: он нигде не работал, придумав себе отговорку, в которую якобы верил, – «покрою задолженность государству и тогда с чистой совестью пойду работать».

Беговые «жучки» – ракушки, налипшие на подводной части судна. На свои деньги они не играют, у них попросту их никогда нет. По мелочи подрабатывают на игру тем, что «жукуют», то есть назойливо советуют сыграть «вернячка» новоявленному посетителю. Лошадь проиграла – с него взятки гладки, выиграла – он тут как тут. Эта разновидность любителей легкой наживы, скорее, комическая, чем опасная, чрезвычайно назойлива. Излюбленной жертвой их прилипчивости были заметные в Москве люди из литературно-художественной среды.

Николай Робертович Эрдман, писатель-драматург, автор нашумевшей в двадцатые годы пьесы «Мандат», тонкий знаток человеческих душ, любивший наблюдать воскресную «суету сует» на ипподроме, не устоял под натиском погрузневшего – «ничего, кроме портвейна», – Алойши, вымогающего очередной рубль, чтобы поставить «вернячка».

Ритмично разделяя паузами свои громкие «ха ха ха», от души смеялся над ситуацией Николай Николаевич Асеев, хорошо разбиравшийся в рысистых лошадях, любивший беговое дело, в подтверждение чего преподнес А. Г. Бондаревскому сборник своих стихов с шутилой дарственной надписью:

Александру Бондарю,
От которого горю,
Хоть горю и прогораю,
Но, а все ж его играю...

В отличие от Николая Робертовича, игрока дилетанта, Николай Николаевич был в играх мастер, как говорится, на все руки. Не раз он, иронизируя за карточным столом – «под выходной», – выигрывая очередную ставку в покер, приговаривал: «Вот Владимир Владимыч написал про меня – „хватка у него моя“, – так ведь это в поэзии, а за зеленым столом хватка у меня Некрасовская...»

В ложе беговых трибун Асеев потешался над доверчивостью драматурга, согласившегося поставить «на двух одров».

Опрокинув мнение знатоков, первый «одер» пришел к столбу победителем. По правилам игры надо ждать, что второй «одер» в последующем заезде также закончит дистанцию первым. Эрдман проверил билет, он был на месте: в верхнем кармашке пиджака. «Николай, зажми в кулак», – шутя сказал я, как и Асеев, не допуская выигрышного варианта. Нервически улыбался и Алойша: удача сулила большие деньги – щедрость Эрдмана была общеизвестна.

Несмолкаемый гул стоял на трибунах, когда эрдмановская кобыла, кажется ее звали Крушина, финишировала к столбу победительницей.

Выдача была баснословная. Алойша со всех ног бросился из ложи в кассу. Мы последовали веселой возбужденной гурьбой за ним.

Кассирша взглянула на билет и затем с молчаливой укоризной на Эрдмана. «Билет старый, проигранный в более ранних заездах», – усовещающим тоном сказала она.

Алойши и след простыл. Он прятался от нас где-то в самых отдаленных закоулках трибун, «в камышах». После войны я его больше не видел.

С годами я к бегам стал остывать. Посещаю ипподром только в праздники. Совсем перестал бывать Николай Эрдман. Заперся, не выходя на улицу из своей квартиры в проезде Художественного театра, Николай Николаевич Асеев, лишь по телефону интересовавшийся: «Что там делается на дорожке?» Потом они ушли из жизни.

А делается все то же: «порядок бьет класс!»

Глава 3 ПОИСК

Февральскую революцию я помню отчетливо. Было всеобщее ликование. На Тверской улице толпы народа. На тротуарах, на мостовой, все с красными бантами или ленточками на груди. По трамвайным путям вместе с колоннами демонстрантов шли группы общественных дружинников. Впереди мы, мальчишки, тоже с красными бантами, громко кричим – «дубака», значит, городского ведут: их ловили и в подвалах и на чердаках жилых и нежилых зданий.

Годы гражданской войны, хозяйственная разруха резко изменили спокон веков утвердившийся порядок в нашем доме. Организация зимних охот на волков, выезд на лето с собаками в деревню ушли в прошлое. Продовольственный кризис потребовал других забот. Все москвичи занялись основной охотой за куском хлеба. Когда конское мясо, потом требуха стали роскошью, а хлеб без торчащих щетинок соломы редкостью, отец всю «облаву» – как нас, детей, иронически называл дядя Митя – отправил в Погост.

Только в 1920 году, после смерти отца, сраженного сыпным тифом, я вернулся в Москву и положил начало своему производственному стажу – поступил работать подручным слесаря в Центральные ремонтные мастерские МОЗО.

То было время бурных порывов молодости к самовыражению. Октябрь пропахал трехсотлетние залежи народной энергии, расковал неисчислимые творческие силы многомиллионных масс. Беспокойные сердца молодых бились учащенным пульсом. Хотелось везде успеть, боялся проглядеть что то впервые нарождающееся в горячке будней строительства новой жизни.

А тут еще как раз подоспел нэп, с его быстрым вторжением в быт полуголодного, обшарпанного, запущенного города. Темп жизни необычайно возрос. Время стремительно летело вперед. Сутки сократились в объеме. Ложились поздно, вставали рано. И все же часов бодрствования явно не хватало, чтобы побывать там, куда тянуло.

Родились новые слова: «нэпман» и «спец». Шляпа и «гаврилка» – так в борьбе с «пережитками капитализма» комсомольцы называли галстук – на глазах завоевывали сданные было позиции кепке, косоворотке, гимнастерке. Брюки клеш и бушлат – «мандат пролетария» – уступили место модному пиджаку в талию и коротким брюкам, непомерной ширины в бедре и резко сужавшимся к лодыжке – «клоунские».

Заработала реклама: «Яков Рацер – топливо», «Савва Ундервуд – пишущие машинки», «Теодор Реддавей – техническое оборудование». Самый шик – шляпы и галантерея – у Куприянова на Тверской. Ботинки «Джимми», с узким носом, как у рыбы меч, у Зеленкина на Кузнецком мосту. Конфекционные готового верхнего платья и ткани – «у нас только импорт» – в Солодовниковском пассаже на Петровке.

Город менялся на глазах. Количество гастрономических, молочных, овощно зеленных магазинов росло не по дням, а по часам. Засверкал витринами Елисеевский гастроном. Необозримым натюрмортом развалился Охотный ряд – чрево Москвы с коровьими, свиными, телячьими, бараньими тушами, копчеными, провесными, запеченными окороками, с огромными, словно торпеды, белугами, осетрами, семгами, с разносолами и овощами, с маринадами и пряностями.

Появились частные прокатные автомобили с черно желтыми шашками по кузову. К ресторанам подкатывали нэпманы на лихачах в колясках с дутыми шинами. Круглосуточно работало казино «У Зона», где в большом зеркальном зале – рулетка. Крупье с набриолиненными прическами, с пробритыми проборами громко чеканят: «Прошу делать игру», «Игра сделана – ставок больше нет». Шарик скачет по металлическому циферблату, и в наступившей тишине слышно, как он пощелкивает, перепрыгивая по крутящемуся диску из одной уложницы в другую.

Рядом маленькая – «золотая» – комната, туда с рублями не лезь. Там идет игра в «шмен де фэр», по русски в «железку». Банки составляются и срываются тысячные. «Игра только на видимое», – объявляет крупье, артистически тасуя новые карты. На столе появляются столбики золотых царских червонцев. «Размен», – кричит крупье: вместо столбиков выдаются фишки – самая устойчивая валюта казино. Казино делает баснословный оборот за сутки. «Есть на небе одно солнце, много облаков. Есть в Москве один Разумный, много дураков...» – пели с эстрадных площадок куплетисты про основателя этого заведения, нажившего миллионы и породившего категорию нарушителей закона – растратчиков.

По Тверской, от Садово Триумфальной площади до Скобелевской (ныне Маяковского – Советская), не скрывая намерений – «могу провести время», – прогуливались расфранченные девицы. Рестораны с кабинетами работали до утра.

На Ильинке биржа котиrowала червонец, а рядом на параллельной, Никольской, тротуары кишели валютчиками – «даю червонцы, беру червонцы», «даю рыжики, беру рыжики» – золотые монеты дореволюционной чеканки.

Улицы определились по ассортименту торговли: Мясницкая – технические, скобяные изделия; Никольская – оптово текстильные товары; Тверская, Петровка, Кузнецкий мост – ширпотреб, обувь, готовое платье, галантерея, культтовары. Горланила на всю округу «Сухаревка». Базарила птицами, щенками не менее голосистая «Труба» (Трубная площадь).

А в катакомбах китайской стены ютилось несметное количество беспризорных ребят. И здесь же рядом с их трущобами у подножия стены от Никольских до Ильинских ворот шла торговля в развал литературой – городок букинистов.

Молодость моего поколения прошла, вплотную соприкоснувшись с бытом и нравами того времени. Кто то крепко увяз в затягивающей трясине сладкой нэповской жизни; кто то коснулся ее краешком своего существования, учуяв, что угарный чад грозит серьезным отравлением; кто то упорно шагал против ветра соблазнов, широко открывая молодежи ворота стадионов для выхода на свежий воздух.

Орудую с молотком и зубилом под началом опытных слесарей, восстанавливающих тракторы «Холт», «Клейтон», «Рустон» и собирающих сельскохозяйственные машины и орудия – жатки, лобогрейки, косилки, сеялки, я ждал с нетерпением гудка, чтобы, отмыв «трудовые руки» пастой нежно розового цвета «Чистоль», отправиться на удовлетворение личных духовных запросов.

Куда сегодня после работы? Каждодневный вопрос вопросов. Футбол уже довольно прочно обосновался в моем сердце. Рядом с мастерскими был расположен МКЛ – Московский клуб лыжников, сохранивший на своем стадионе небольшое футбольное поле и прекрасный павильон, так называемый «царский», он и сейчас цел: находится при спортивном комплексе «Юных пионеров» на Ленинградском проспекте.

Конечно, туда после работы на маленькое футбольное поле спешили мы: Николай служил вместе со мной, а Александр по соседству, на Петровском огороде. Сейчас это когда то открытое картофельное поле застроено жилыми кварталами, прилегающими к Беговой улице. Тогда же на этом огороде я сидел в шалаше с незаряженной берданкой, выполняя общественные обязанности по охране картошки в ночное время.

В кружке самодеятельности бывшей Солдатенковской больницы, ныне имени С. П. Боткина, расположенной бок о бок с мастерскими, была театральная секция. В ней мы и искали утоления жажды артистической славы. Секция ставила водевили. Это был очень популярный жанр в театрах малых форм. Николай играл роли героев любовников, Александр, к общему удивлению, неплохо выступал в амплуа комических старух. А я – в «кушать подано». Но вскоре и от этого был отстранен, после деликатного замечания режиссера: «Вы говорите деревянным голосом». Не оставило в истории театра каких либо следов и творчество старших братьев. Однако увлечение театром оказалось не бесследным, я стал пожизненным театралом, как говорится, закулисным человеком.

Пользуясь расположением добрейшего Акифьева, представителя рабочкома, потомственного пролетария мастерских, так и не научившегося правильно выговаривать

свой титул – он рекомендовался «рабочек», – я получал бесплатные билеты во все московские театры.

Мне довелось побывать в театре «Семперантэ», размещавшемся в квартире верхнего этажа жилого дома в Гранатном переулке. В театре без занавеса, без рампы, без сцены: зрительный зал, та же комната, отделялся от условной сцены условной рампой. Суфлера за его полной ненадобностью не существовало, так как текст исполнители ролей импровизировали по ходу действия. Не берусь судить, насколько нужно и полезно было это театральное новаторство, с точки зрения искусствоведов, но спектакли – «Гримасы», «Прыжки» – оставили неизгладимое впечатление: покоряло мастерство артистов Левшиной и Быкова, выступавших в главных ролях.

Я видел восхождение новой звезды на театральном горизонте во Второй студии МХАТ. В пьесе З. Гиппиус «Зеленое кольцо» дебютировала молодая артистка – Алла Константиновна Тарасова, в роли неотразимо симпатичной, разуверившейся в жизни гимназистки, по имени Финочка. Она была столь обаятельна, столь несравненно хороша, что я ушел из театра, совершенно плененный этим чудным образом.

Много лет спустя я рассказывал Алле Константиновне о своей юношеской влюбленности в Финочку. Она, к тому времени не утратив ни молодости, ни обаяния, ни жизнерадостности, улыбаясь мне, ответила: «Ну и прекрасно. Продолжайте меня считать Финочкой».

И каждый раз при очередной встрече, и в довоенные и послевоенные годы, на гастролях ли, или в торжественные дни юбилеев театра, или на новогоднем вечере, по восстановленной было традиции мхатовцев встречать Новый год в большом фойе театра, я всегда улучал минутку признаться Алле Константиновне: «Вы для меня по прежнему Финочка». И она, подыгрывая мне, шутливым тоном неизменно отвечала: «Конечно, конечно, только Финочка!»

В последний раз я встретил Аллу Константиновну на улице Пушкина недалеко от театра. Она опередила меня, здороваясь: «Ну вот и нет вашей Финочки». Я пытался утверждать обратное: «Вы прекрасно выглядите», но что то скорбно усталое проглядывало во всем ее чудесном облике. Она только что перенесла тяжелую операцию. А вскоре на немецком кладбище москвичи прощались с Аллой Константиновной Тарасовой...

В нэпмановской Москве пышно расцветало эстрадное искусство во всем его многообразии. Представители разговорного жанра: салонные куплетисты – во фраках и смокингах и черных лакированных ботинках, куплетисты «босяки» – в костюмах из мелких кусочков разноцветных тряпок, в ботинках с двойными подошвами, для удобства «сбачать» чечетку со звуковым эффектом как будто клацающих кастаньет – наводнили эстраду. Авторы злободневных политических фельетонов не очень считались с литературной этикой. На исторический ультиматум английского премьера лорда Керзона эстрадная пара разговорников отвечала рефреном: «Ульти, к делу мы пришили, матом будем отвечать»... Не претендовали на тонкий юмор и поборники за чистоту служебной морали, потчует публику припевом: «Мы руки взятками свои не замарали, когда мы брали, то перчатки одевали...» и так далее и тому подобное.

Все это декламировалось, пелось, плясалось на небольших подмостках, начиная от пивных «Левенбрей», Корнеева и Горшанова и кончая открытыми площадками, сколоченными на Тверском, Цветном или Чистопрудном бульварах.

Там же можно было видеть танцевальные пары, исполняющие модные аргентинские танго или бразильскую «Амапу».

Звукоподражатели, имитаторы, клоуны, жонглеры входили в программу рекламных объявлений «Дивертисмент», висящих у входа заведений такого типа.

Но наиболее популярным жанром эстрадного искусства оказалось цыганское пение и пляска. Хоры под управлением знаменитых дирижеров – Егора Алексеевича Полякова, Дмитрия Ивановича Иванова, Николая Степановича Лебедева, прошедших школу дореволюционных загородных ресторанов высшего класса «Яра», «Стрельны», «Эльдорадо»,

со своими знаменитыми певицами – Александрой Христофоровной Христофоровой, Александрой Андреевной Ланской, Дарьей Алексеевной Мерхолоенко, сохранившими в своем действительно цыганском искусстве стиль таборного фольклора, переживали свое второе рождение.

Политехнический музей и Дом Герцена – главные полигоны прозы и поэзии. Всевозможные литературно поэтические «реки, ручьи, ручейки и лужицы» растекались в разных направлениях. Поэтические поиски земных и заоблачных истин громко, трескуче звенели в ушах. Из стен главных полигонов перестрелка спорящих сторон переносилась в кафе «Стойло Пегаса», где полемика велась и в настенных экспромтах – «...с очками на носу сидит рыжая корова, уплетая колбасу».

Сбивали с толку, смешили нарочитой несуразностью стихи декадентов. Более полувека прошло, а помню печатавшееся и декламировавшееся:

Дайте мне рыданий соус,
дайте сдобное варенье,
дайте ситцевый анчоус
и трехгранное печенье.
Нет, не надо мне короны,
лучше дайте крышку гроба
и величие вороны.
Пусть потешится утроба...

Помню в том же «Стойле Пегаса» лохматого, неопрятного, с перхотью на плечах, в засаленной вельветовой блузе, в очках с тонкой металлической оправой декадента, бьющего в своем «стихотворении» на образ:

Море гадов вдали бушевало пред мной,
А на море том трон возвышался,
Из под кислой капусты то бочка была,
А на ней сатана восседал!
Сатана был красив, как столетний козел,
Как волдырь на макушке у ведьмы... –

и далее набор каких то несовместимостей. Ведь не выветрилась же такая белиберда! Вспоминаю об этом лишь для того, чтобы донести до читателя особый колорит того времени.

Напротив в кафе Филиппова обосновался на ежедневное времяпрепровождение спортивного вида молодой человек, рекомендующийся у каждого столика:

Я, Евгений Борисов, поэт,
Ко всему подхожу прямо, а не криво,
У меня денег нет,
Но ужасно хочется пива.

Он рядился под Есенина. Щеголял выдуманной близостью с поэтом – «вчера с Сергеем били в жизнь». Блондинистый, со спущенным на лоб чубом, Борисов действительно напоминал лицом Есенина и так всегда азартно заступался за него – «закусили Сережку собаки», – что каждый вечер заканчивал в милиции.

Я гнался за живым Есениным, рыскал по диспутам, но увидел любимого поэта только на похоронах. О влиянии на молодежь, о силе его поэтического таланта столько написано и будет еще написано критиками, литературоведами, что здесь мне ни прибавить, ни убавить. Помню лишь тягостное ощущение неоправимости свершившегося.

Вечернюю газету принесли в парикмахерскую, где я дожидался своей очереди. Читаю сообщение, и первая мысль: «Так и не увидел!» Бросил очередь и от Никольской улицы до Пресненского вала промозглым зимним вечером побрел домой, отказавшись от всех житейских соблазнов. А Тверская что ни шаг, то соблазн: вон налево сияет огнями ресторан «Националь», чуть подальше, на углу Брюссовского, – «Медведь», направо, на углу Козицкого, кафе Филиппова, на углу Садово Триумфальной – «Ку ку», через двери которого на улице слышится цыганский хор под управлением Егора Полякова.

Маяковский. Первое впечатление – громадина. Я только взялся за ручку двери в фотографию «Джон Буль», помещавшуюся рядом с ВТО, на улице Горького, как навстречу мне, заполняя весь дверной проем, двинулась огромная фигура в куртке с воротником шалью и надетой чуть набок спортивной кепке.

В тамбуре не было возможности протиснуться мимо, и я отступил, успев заметить на ногах встретившегося очень большие ботинки на толстой подошве. Крупный мужчина широким шагом направился к Страстной площади.

– Узнал? – не дожидаясь ответа, Володька Шустрый, сын владелицы фотографии, сунул мне квитанцию на имя Маяковского. – Едва уместился перед аппаратом, – возбужденно тараторил школьный друг. Приемная «Джона Буля» действительно крохотных размеров, а «лаборатория» и того меньше.

Я, конечно, узнал. Мне уже приходилось его видеть и слышать в Политехническом музее. Но встретиться, плечо в плечо, довелось впервые. Огромная габаритность фигуры поэта изумила, даже папироса во рту показалась – «курю трубы фабричные».

Не скажу, что Маяковский был моим кумиром. Я больше увлекался Есениным. Из страны березового ситца дул теплый знакомый ветерок Вашутинской подозеры. Но от горлана, бунтаря тоже некуда деться: он был огромен во всех измерениях, и в трудной для нас, ребят, манере стихосложения и своих поэтических образах.

«Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии»... Я наблюдал вплотную. Время все поставило на свои места.

С Маяковским меня познакомил Николай Николаевич Асеев в коридоре небольшого зала Дома Герцена, где Владимир Владимирович в этот вечер читал свои стихи.

– А, мускулы... – добродушно иронически прогудел поэт, протягивая руку, когда Асеев отрекомендовал меня футболистом. Я ответил футбольной строчкой из его стихотворения. Реакция была положительная: в сдержанной улыбке чуть дрогнули уголки рта, и подбородок стал тяжеловеснее.

На сцене, не обращая никакого внимания на приветственные аплодисменты, как будто и не слыша их, он неторопливо снял и повесил на спинку стула пиджак, закатал манжеты белой рубашки по локоть и встал в позицию, как он стоит в бронзе на площади своего имени в Москве.

Поэт приготовился работать. Иначе не скажешь: ни к чему другому так не готовятся. Да он и работал, увесистыми ударами своего баса вбивая слова в сознание аудитории, как гвозди, по самую шляпку.

Шаляпинской мощью веяло от всей фигуры поэта. Мне довелось видеть и слышать Ф. И. Шаляпина в Большом зале Консерватории. Природа обоих щедро одарила: и голос, и стать, и творческий темперамент. Умел всем этим пользоваться Владимир Владимирович. Прямо таки подавлял напором и непримиримостью. Говоря футбольным языком, действовал только в атакующем стиле. Я съежился, сидя на стуле, чувствовал себя таким «премногомалозначащим» под наступательным порывом махины.

Но вот ведь что главное – послушаешь Маяковского и хочется самому значить больше. Такой эмоциональный заряд запускал он в зал, что и не согласен, да согласишься.

Организатор лекций Павел Ильич Лавут рассказывал мне, с какой ответственностью относился Владимир Владимирович к открытым выступлениям. «Сцена, эстрадная площадка – это публичный бой за идею в поэзии, – говорил поэт. – Надо вести свою линию и обеспечивать ее торжество при всех обстоятельствах». Чтобы привлечь внимание к наиболее

актуальному разделу программы вечера, заготовлялся «рабочий вопрос к докладчику» с заранее составленным ответом. Написанный каламбур не оставлял оппонентам ни одного шанса на успех, а разящие экспромты Маяковского дополняли разгром очередного дилетанта.

По натуре Владимир Владимирович был игрок спортивно непримиримого характера, верящий только в свои личные возможности и способности. Бега он совершенно не признавал – «я там ничем не распоряжаюсь – хозяйничает наездник и лошадь». Вот бильярд другое дело. У них шла непрекращающаяся дуэль с Иосифом Павловичем Уткиным. Разные по темпераменту, они и игру вели непохожую. Игра Уткина была менее открытой, но более технической. Маяковский играл размашисто, широко.

Владимир Владимирович любил быть в центре внимания всей бильярдной. Однако развязных суждений и реплик со стороны зрителей не терпел. Однажды расфранченный посетитель, с массивной золотой цепочкой через весь жилет, напыщенный, громко стал комментировать игру Маяковского. Согнувшись, выцеливая шар, поэт исподлобья, предупредительно зло скосил глаз на самодовольного франта. Тот не унимался. Маяковский, под очередную реплику франта вогнав победный шар в лузу, распрямился во весь рост и презрительно пророкотал: «Златая цепь на дубе том»...

В чудесное весеннее утро, когда чистое небо, восходящее солнце, чуть начинающая зеленеть листва, свежий воздух и молодые годы переполняют душу жизнерадостностью, я, красноармеец второго года действительной службы, нес дежурство по штабу Московской пролетарской стрелковой дивизии, расположенному в Бироновском дворце в Садовниках. Принесли утренние газеты. Читаю – глазам не верю. «Вчера...», и тут же предсмертное письмо Маяковского, оканчивающееся «я с жизнью в расчете, и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид».

Самоубийство Маяковского произвело ошеломляющее впечатление. У всех еще свежо в памяти назидательное стихотворение поэта на смерть Есенина. И вдруг такой же конец.

На похоронах Арнольд, о котором Николай Николаевич Асеев писал: «лучше всех его знал Арнольд», коротко отозвался по поводу случившегося – «делать жизнь значительно трудней»...

* * *

Одним из наиболее популярных видов спорта в то время была профессиональная борьба, главным образом французская, классическая. В чемпионатах боролись действительно силачи, люди, поражавшие своей физической мощью в ее самых разнообразных проявлениях: ростом – великаны Святогор, Быков – вверх далеко за два метра; могучим торсом – Иван Поддубный, Иван Шемякин; фигурой – Сергей Пафнутьев, Петр Крылов, Никита Титов – геркулесы.

Задолго до открытия чемпионата в цирке Никитина (сейчас в этом помещении Театр сатиры) Москва пестрела огромными афишами, возвещающими, что знаменитый антрепренер И. В. Лебедев открывает очередной чемпионат мира по французской борьбе с участием всех мировых знаменитостей. Обещались сенсационные номера – жонглирование тяжестями, разгибание подков, конкурс красоты телосложения и даже переезд на автомашине через грудь лежащего борца. Все это было в действительности. Как игрушечные, летали в воздухе кувыркающиеся двухпудовые гири из рук Никиты Титова, с ловкостью жонглера ловившего их в пальцы клещи. Сверхрискованным выглядел номер, когда высоко подброшенную гирю борец, ловко пригибаясь, ловил на шею, словно это футбольный мяч. Эффектно работал Титов со штангой «бульдогом». Была такая разновидность штанги – длинный гриф, а на его концах вглухую закрепленные чугунные шары, величиной с медицинбол. «Резиновая», – кричали зрители, наблюдавшие, с какой легкостью и точностью снаряд описывает круги вокруг шеи, торса, пояса исполнителя.

Штанга тут же проверялась сомневающимися. Громкий хохот переполненного цирка сопровождает тщетные попытки Фомы неверующего оторвать чугунную тяжесть от земли – «живот надорвешь», «портки лопнут»!!! В этом добродушном смехе сквозит чувство удовлетворения – «без обмана». А «дядя Ваня» – как любовно называла вся Москва антрепренера Ивана Владимировича Лебедева, – расхаживает по арене в традиционной синей бекеше, в картузе с лаковым козырьком, самоуверенно, с этакой нарочито подчеркнутой фанаберией, «продает» фирменный номер – чудаки, мол, сомневаются, у нас все только начистоту.

Но вот начинается гвоздь программы – борьба. «Парад алле», – зычно звучит голос «дяди Вани», появившегося из за кулис и в картинной позе занявшего место посредине арены. Под торжественный марш гладиаторов дефелируют в затылок друг другу участники. Сделав приветственный круг по периметру арены, борцы выстраиваются перед антрепренером, образуя живописную линейку людей исполинов, в своих борцовских разного цвета трико, с победными медалями на лентах, надетых через плечо. Великий артист – «дядя Ваня» начинает свой знаменитый конференс с представления атлетов:

– Чемпион Африки и мира – Циклоп! – многообещающе, громко возвещает он. Шаг вперед делает негр – круглый во всех измерениях: голова – арбуз, туловище – бочонок, руки, ноги – гамбургские колбасы, только все это черного цвета. Циклоп театрально раскланивается и, возвратившись в ряд, застывает в позе «чемпиона мира и его окрестностей» – шуточная народная реприза про конференс «дяди Вани».

Чемпионат широко представлен национальностями всех континентов. У каждого названного свой громкий титул и жест приветствия, рассчитанный на эффект: выставить полусогнутую в колене ногу и воздеть руки вверх; трижды притопнуть ногой и трижды тряхнуть кулаком согнутой в локте руки; согнуться в поклоне и тронуть землю рукой, застыв в позе. Все на театрально приподнятом выражении. Самый чемпион из чемпионов – Иван Максимович Поддубный, проще всех. Ему не надо добывать ни симпатий, ни признаний: одно его имя вызывает бурю оваций.

Он и в жизни был удивительно прост в общении. Когда я смотрел на него с цирковой галерки, загипнотизированный этим ярким спектаклем силы и мощи, Поддубный мне казался могучим человеком. Когда же я встретился с ним в кафе «Метрополь», будучи уже взрослым человеком, то Иван Максимович еще более поразил меня своими габаритами. Прославленный боксер тяжелого веса, абсолютный чемпион страны Николай Королев, обусловивший это свидание, чтобы проводить маститого спортсмена к месту расположения спартаковской колонны, в составе которой Иван Максимович должен был выступать в физкультурном параде на Красной площади, выглядел на фоне этой глыбы боксером легчайшего веса. Моя кисть руки утонула в его ладони: улейка в ладони взрослого рыболова.

Были борцы «яшки», имели место и сговоры между классными борцами по настоянию антрепренеров для подогрева интереса публики. Борьба велась по заранее разработанному сценарию – поражение, успешный реванш, решительная, до результата, схватка: трехсерийный фильм. А «яшки» безответно ложились на лопатки под любого борца, по указанию антрепренера, без всякого права на реванш.

«Буровая», то есть чистая, бескомпромиссная борьба, возникала, когда встречались действительно признанные чемпионы, для которых престиж, честь были превыше всего.

Обо всем этом нам и рассказывал Иван Максимович за столиком в кафе «Метрополь», мечтательно, добродушно вспоминая свое богатое впечатлениями борцовское прошлое, поглаживая рыжевато пепельные усы, вспоминая знаменитых соперников: братьев Збышко Цыганевичей, Владислава и Станислава, Николая Вахтурова, американца Франка Готча, непревзойденного чемпиона в вольной борьбе. Эпизоды пересыпались отжившими названиями приемов – «бра руле», «тур д'анш», «тур де тет», «суплесс», «нельсон» и, конечно, «макароны» – затрещины по шее соперника, обилием которых определялся азарт

схватки. Я спросил про «Красную маску». «Так я их столько на своем веку „расшифровал“ и красных и черных, что всех и не упомнишь», – ответил он мне.

Прощаясь после окончания парада, я почувствовал, как моя ладонь опять превратилась в улейку. Глядя вслед направившемуся к метро чемпиону чемпионов, мы многозначительно переглянулись с Королевым, и чемпион тяжелого веса по боксу, как бы взвешивая впечатление, сказал: «Да а а, пожалуй, один раунд не продержишься»...

Возвращаясь к борьбе двадцатых годов, вспоминаю, что антреприза «дяди Вани» все сильнее затягивала меня в цирк. Атмосфера спортивного возбуждения, веселый смех, вызываемый непосредственным народным юмором «дяди Вани», его актерские проделки по ходу спектакля, сами схватки с неистовством отпускаемых «макарон» – все это очень заманивало. Разве забудешь рассказать, как, впад в состояние аффекта из за «необъективности» судейства, разъяренный борец с размаха бросил противника на стол жюри, в результате – исковерканный стол, валяющиеся стулья и трое членов судейской коллегии, успевшие вскочить и убежать за кулисы.

В подобных случаях в дело вмешивался «дядя Ваня». Судьи после недолгих усовещаний занимали место за новым столом. Нарушителю делалось внушение, и схватка продолжалась.

В паузах между схватками «дядя Ваня» осуществлял рубрику «вопросы и ответы».

– Дядя Ваня, а где Збышко Цыганевич?

– Какой Збышко – Станислав или Владислав?

– Станислав...

– Оба в Америке.

И в публике веселый смех на «покупку» конференсье.

Вот на сцену из верхних рядов неторопливо направляется плотный, высокого роста мужчина, в каком то непонятном капюшоне. Подходит к «дяде Ване», снимает головной убор и, к всеобщему восхищению, оказывается «Красной маской». Импрессарио внимательно всматривается и, пожимая плечами, как бы сожалея, громко говорит, что пришедшему со стороны неизвестному право борьбы представлено быть не может.

Тогда, чтобы доказать свои качества, «маска» предлагает испытовать силу своего «грифа» – кистевого захвата.

«Дядя Ваня», поразмыслив, соглашается пойти на пробу и протягивает незнакомцу свою руку. Тот вцепляется в запястье, и антрепренер, извиваясь ужом, пытается освободиться от захвата. Одно то, как «дядя Ваня» при его полноте, с «брюшком», при небольшом росте вертким живчиком трепыхается на арене в неукротимом желании выиграть «пробу», смешит зрителей не меньше, чем антре популярного клоуна Дмитрия Альперова. «Попался „дядя Ваня“, – добродушно заливается хохотом цирк.

Сдавшись на милость победителя, «дядя Ваня» тут же громогласно объявляет о включении «Красной маски» в состав чемпионата: с приглашением зрителей на первое выступление таинственного незнакомца.

В следующем антракте, подкрепляя незаурядную силу нового участника чемпионата, «дядя Ваня» появляется из за кулис с пухло забинтованной рукой. Она покоится на широкой белой перевязи, спускающейся с шеи, и бережно, как ребенок, придерживается левой рукой. По всему видно, что он «испытывает» страшную боль. Судить он не может и, сокрушенно опустив голову, садится рядом с жюри. Великий актер!

«Красная маска» лишила меня покоя. Что ни день, то победа. Неизвестный борец клал на лопатки признанных фаворитов чемпионата. Никто не знал скрывающегося под маской борца. Белотелый, с рельефно выраженной мускулатурой, пропорционально мощной фигурой, стройный атлет быстро стал любимцем публики. Какие только фамилии не называли знатоки профессиональной борьбы, пытаюсь расшифровать таинственного спортсмена! Но возражения – «у Луриха торс не похож», «у Крылова бицепс бугром» – перечеркивали очередную догадку. Мой приятель одноклассник Мишка Модзгвришвили, как и я, сгорал от любопытства. Было решено проследить «маску». Узнать адрес и разоблачить –

установить фамилию. Борец появился из двери служебного выхода в длинном пальто, низко нахлобученной шляпе, упрятывая лицо в высоко поднятый воротник.

«Он», – заговорщицки прошептал Мишка. И мы отправились, как заправские филеры, выслеживать замаскированного спортсмена. В тени деревьев Садово Кудринской (Садовое кольцо было густо засаженным бульваром) замирали на месте, когда человек в маске настороженно оглядывался. Наконец, возле Смоленского рынка, в глухом переулке, он свернул в подворотню. Тусклый уличный фонарь едва светил. Напряженное ожидание в полутьме вдруг сменилось топотом двух пар ног, когда из ворот выскочил «красный дьявол», присел, растопырив руки и хриплым басом рявкнул на нас: «Га а а!» Впереди, распустив фалды плаща, как вихрь мчался Мишка Модзгвришвили, я едва успевал за лидером. Отдышавшись и успокоившись, что «красный дьявол» не гонится за нами, распрощались и отправились по домам.

Стало совсем поздно, а я еще был в пути. Шел Соколовским переулком домой на Пресненский вал. «Стой», – отрывисто скомандовал один из двоих парней, вышедших из за стенного уступа богадельни. В руках у приземистого парня в черной маске нож, нацеленный в мой живот. «Поросятник», – с ужасом подумал я: кличка известного бандита, терроризировавшего весь Пресненский район. «А, Старуха, – разглядел меня напарник бандита, – свой малый», – благосклонно закончил он.

Спасителем оказался Сдобный, одноклассник Николая, по фамилии Сдобников. Назвал он меня нашим школьным прозвищем. Почему то производная от фамилии наша кличка произносилась в женском роде. Мы, четверо братьев, учились, естественно, в разных классах, но каждый из нас окликался не иначе как Старуха.

Много лет спустя к нам в команду «Спартак» пришел новый массажист по фамилии Шум. К нему так и обращались для удобства – «Шум, сегодня меня» – помассируй, значит. Так и шла его фамилия вместо имени – Шум да Шум. За массажем, как обычно, разговорились. Речистее массажиста профессии нет. Затронули, конечно, спорт, разные случаи. Я и рассказал ему про свою ночь кошмаров с красной и черной масками. Он слушал, слушал, как начал хохотать. Я немножко обиделся: «Ты бы видел этого борца!» – «Так это я и есть, – закатывался смехом Шум. – Сколько вас тогда за мной охотилось, не сосчитать!»

Шум оказался любимцем Москвы, Никитой Титовым, носившим звание чемпиона мира профессиональной борьбы. Непревзойденный демонстратор «игры с тяжестями» одно время скрывался под нерассекреченной красной маской. Превратности судьбы оставили в нем ровно столько силы, сколько требуется для добросовестной работы над чужими мускулами. Я с недоверием смотрел на его заурядную фигуру – где же те мышечные бугры, где торс исполина?

– Все в прошлом, – как бы отвечал мне Шум. Крупная стриженная голова да капли пота на крутолобом лице лишь и напоминали бывшего циркового Геркулеса...

* * *

Мою молодость, как тачанку, бросало в разные походы. Но выкатилась она на футбольную дорогу, оказавшуюся прямее других. Николай уже играл за сборную команду Москвы. Александр, я и Петр из «дикого» футбола на Ходынке перебрались в футбол организованный, бегали по настоящему футбольному полю, выступая за младшие команды московского клуба спорта на Пресне, прямого прадеда сегодняшнего «Спартака».

Футбол тогда развивался на самостоятельной активности футболистов. Это совсем не значит, что он был не зрелый. Наоборот, играло много превосходных солистов. Они очень разнились друг от друга: по манере игры, по стилю. Федора Селина и Михаила Бутусова не спутаешь. Не потому, что один был рыжий, как «червонец», а другой брюнет. Акробатические этюды и в воздухе, где он царил на самом верхнем этаже, демонстрируя удары головой выше перекладки ворот, и на земле, где его шпагаты и подкаты неизменно

вызывали восхищение зрителей, были под силу ему, Селину, «рыжему черту». Также и мощные прорывы Михаила Бутусова, заканчивающиеся сокрушительным завершающим ударом по цели, могли быть только бутусовские.

Не случайно и Петра Исакова называли футбольным «профессором». Тогда ценители футбола тоже понимали толк в игре. Миниатюрный центрфорвард выдавал такие пасы своим партнерам – Павлу Канунникову или Петру Артемьеву, что одно это качество доставляло зрителям эстетическое удовольствие. В самом деле, время, пространство и движение он учитывал в ходе игры до долей секунд и сантиметров, что и отличало его как несравненного мастера ювелирного футбола.

Технические экспромты Константина Блинкова, центрхавбека сборной Москвы, эффектно и эффективно использующего свое умение распорядиться мячом в окружении трех четырех противников и выйти с ним на голевую позицию, могли бы и сейчас быть хорошим примером для подражания.

Одаренные мастера были воспитаны на украинских футбольных полях – вратарь Норов, беки и хавбеки – братья Фомины, Привалов, Штрауб, – они хорошо были известны московскому зрителю. Росли свои солисты в Грузии и других республиках.

Футбол того времени позволительно сравнить с эстрадным дивертисментом, с хорошо подобранными отдельными номерами, когда в программе можно с интересом посмотреть голкипера, бека, хавбека, форварда. Уж если крайнего форварда, так крайнего, уж если инсайда, так инсайда! Бек защищался, форвард атаковал, центральный хавбек в меру сил делал то и другое. Тренеров не было. Их заменял личный опыт игроков. Из этого опыта и складывалась тактика игры, базисом которой был энтузиазм. Именно он, этот порох футбола, заставлял Селина взмывать в стратосферу над полем, Бутусова на космических скоростях рваться вперед. Исакова с математической точностью выкладывал мяч партнеру, Блинкова исполнять танец с мячом на уровне пластики Асафа Михайловича Месерера, прекрасно исполнявшего в свое время танец «Футболиста» в концертной программе.

Известно, что поражение сборной России на Олимпийских играх в Стокгольме в 1912 году от сборной футбольной команды Германии со счетом ноль шестнадцать(!) было расценено обозревателями как «спортивная Цусима».

И вот через одиннадцать лет, на том же Королевском стадионе сборная РСФСР, впервые выехавшая за границу, обыгрывает сборную команду Швеции два один. Эта победа сильно подняла престиж молодого советского футбола и вскуражила его, уже тогда неисчислимых почитателей. Вернувшиеся из Скандинавии футболисты были в центре внимания широких спортивных кругов, прессы. И внешне они выглядели шикарно.

Модные пальто «реглан», серые кепи, ботинки на каучуке значительно прибавили нашей юношеской почтительности к вернувшимся «иностранцам». Малоразговорчивый, тихий Петр Ефимович Исаков стал неузнаваем. Я привык его видеть в неказистом одеянии еще дореволюционного происхождения. Несуразно большая папаха из длинношерстной белой овцы, черная, поседевшая от времени железнодорожная шинель со слепыми медными пуговицами, стоптанные австрийские ботинки делали его небольшую фигуру какой то приниженной: чеховский бедный чиновник.

И вдруг Петр Ефимович, «как денди лондонский одет», появляется в клубе, чтобы поделиться своими впечатлениями. Никто так тонко не ценил футбол, как «профессор».

– Самый главный вывод – в технике мы им не уступаем, ведь футбол – суть техника, остальное производное, – развивал он основной тезис. – Физическая подготовка – дело наживное; тактика лимитируется техникой. А порох у нас всегда сухой!

Собрание проходило в деревянной избушке на Краснопресненском стадионе, только что построенном нашими руками. В бревенчатом маленьком зале с деревянными скамьями докладчик в отутюженном синем бостоновом костюме, в белоснежной рубашке выглядел в высшей степени респектабельно. Из «Петринского», как его дружелюбно называли почитатели, центрфорвард сказочно быстро превратился в Петра Ефимовича. Футбол на глазах повышался в цене. Дистанция, отделявшая меня от «Петринского», удлинилась. Я

хоть и принарядился для торжественного случая – отгладил «толстовку» и клеш, предварительно подрезав болтавшиеся сзади бахромки, начистил разведенным зубным порошком парусиновые туфли, – но зарубежного уровня ни в какой мере не достиг. Однако зуд любознательности не давал мне покоя, и я, поборов застенчивость, спотыкаясь на каждом слове, провякал с последней скамейки:

– Петр Ефимович, что важнее, обводка или пас?

Я чувствовал, как меня прошиб пот от волнения, жаром вспыхнуло лицо под вопросительными взглядами старших, обернувшихся назад, – не рановато ли, мол, голос подаешь.

Но я знал, для Исакова ранг никогда значения не имел: был бы существенным вопрос. Последовал по исаковски лаконичный исчерпывающий ответ: «Важнее то, что нужнее в данный момент».

По дороге со стадиона Петр Ефимович развивал свой ответ. Я на ходу постигал, что футбол, как жизнь, развивается в противоречиях и в противоборстве сторон. «В несовместимости интересов соревнующихся на поле команд», – уточнял «профессор», поглядывая на мой клеш, изрядно испачканный зубным порошком.

Тогда я рассказал ему историю из нашего школьного футбола, чтобы раскрыть смысл моего вопроса.

На Поляковке, так назывался пустырь в районе Большой Бронной улицы, была «дикая» команда, с которой мы, команда 18 й девятилетней школы, соревновались на таком же пустыре, только большей площади, в районе 5 й Тверской Ямской улицы. Но нашим непримиримым противником была команда 2 го реального училища. С ней у нас шла непрекращающаяся многолетняя футбольная борьба – «как у Оксфорда с Кембриджем» по гребле.

На левом краю нашей команды играл учитель истории Валентин Николаевич Покровский. Удивительно чистой души человек, Валентин Николаевич очень любил спорт и в футбол играл с увлечением школьника, не считаясь с тем, что был близорук и носил пенсне. Наш левый край не блистал техническими игровыми качествами, был грузноват, его толстые бесформенные ноги мало годились для финтов, и поэтому он восполнял этот футбольный изъян страстностью напора по прямой.

На матч он приходил часто с двумя дочками близнецами 4 5 лет. Однажды девочки, увлекшись «догонялочками», выбежали на поле как раз в тот момент, когда их отец осуществлял прорыв по флангу в неукротимом желании забить решающий гол. В пылу футбольного азарта, мчась по краю поля, он чуть не затоптал своих детей. К счастью, защитник противника успел сшибить с ног неистового форварда, и он растянулся на земле рядом с перепуганными детьми.

На очередную «решающую» встречу со 2 м реальным училищем мы решили усилить техническую мощь команды и пригласили Сарку. Герой Поляковки носил эту кличку от сокращенного имени Серафим. Все мы завидовали Сарке: его поразительному умению водить мяч. Набор финтов у него был самый разнообразный. Обвести одного, двух, трех, четырех противников для него не составляло труда.

Курносый Сарка, представлявший нам непревзойденным дриблером, явился на Сущевскую площадку, как обещал, без опоздания. «Держись, реалисты», – втайне ликовали мы, приготовив противнику такой сюрприз, когда лидер Поляковки натягивал заменявшие гетры материнские чулки на свои иксообразные ноги.

В ходе игры нам стала надоедать роль статистов. Львиную долю времени с мячом орудовал Сарка. Он прямо таки упивался своими «слаломами», ложными замахами, обманными движениями корпуса, оставляя за собой очередного противника. Все чаще и чаще мы стали кричать ему: «Сарка, пасуй!» Но куда там! Пас ему и во сне не снился, он терял мяч в безнадежной попытке добраться до ворот, обводил очередного противника, а ранее обведенные успевали опять стать на его пути. Дальше – больше. Саркин эгоизм стал вызывать возмущение. А как же иначе назовешь такое самоупоение. Наш капитан, Шурка

Калик, злился, надорвавши голос, он взывал к Сарке: «Пасуй». И вот произошло необычайное как раз в тот момент, когда приглашенный гастролер добился своего и выходил один на один с вратарем. Гол был неминуем. Но длинноногий Шурка, словно в него вселился дух Алойши, кинулся к воротам противника, настиг Сарку, сшиб его на землю и выбил мяч за пределы поля. «Иди на свою Поляковку и там води сколько хочешь, а здесь на поле ни ты, ни твой гол нам не нужны» – вот что это значило.

В школе долго не умолкали споры по поводу поступка капитана. Даже Валентин Николаевич смущенно отказывался высказать окончательное суждение по беспрецедентному в футболе случаю.

Исаков рассудил, не задумываясь: «По моему, капитан поступил правильно. Но еще правильнее было бы удалить его с поля раньше».

Позднее Сарка – Серафим Кривоносов – стал хорошим мастером футбола, входил в состав сборной команды Москвы. Вместе с ним несколько лет я выступал и за сборную столицы по хоккею. Он был выдающимся хоккеистом. У нас установился условный код: стоило мне крикнуть в игре «Калик», он сейчас же пасовал. Иногда этот же пароль я слышал от него в свой адрес.

Как показало время, «профессор» заглядывал далеко вперед, предвидя, что от одной крайности легко можно шагнуть к другой. Так оно и случилось. В послевоенные годы игра «в одно касание» распространилась в нашем футболе повсеместно. Надо – не надо, а футболисты по настойчивым требованиям тренеров перепасовывали мяч друг другу, лишь бы была игра «в одно касание». Уметь играть в одно касание, конечно, нужно. Но играть одним таким способом – это «Саркина болезнь», только наизнанку. Трудно сказать, какая разновидность хуже.

Авторитет Исакова был непререкаем. Свои суждения он подтверждал действиями. Первым применил тактику «вогнутой дуги» в игре нападения. Взял и оттянулся в глубину поля, играя центрфорварда: «Противнику меня труднее найти на непривычном месте». Цену этого маневра я понял через три года, после его возвращения из Скандинавии, когда стал играть с ним в одной команде. Предвидение назревающей тактической перестройки на игру «в три защитника».

Исаков стал моим наставником на поле. В пылу азарта я называл его «Петринский». Во время схватки мяч стирает возрастные грани. Все футбольное Исакову было понятно, и, может быть учитывая в числе других спортивных качеств и мой темперамент, он смело выдвинул именно меня на ключевую позицию центрального полузащитника.

Тяжелый удар перенес Иван Артемьев, когда Исаков на тренерском совете сказал: вместо Вани я поставил бы Андрея. Надо же мне было сесть рядом с Ваней. Опять пожаром запылало лицо и сильно заколотилось сердце. За меня высказалось большинство. Запомнилась при голосовании рука Исакова палевого цвета с морщинистой кожей: он обварил кисть руки в детстве крутым кипятком.

Скоро участь Вани Артемьева постигла Павла Канунникова: я вместо Павла поставил бы Сару. И опять рука с палевой кистью проголосовала вместе с большинством.

Через пятнадцать лет, в Тарасовке, в замечательный летний вечер на веранде павильона во время заседания тренерского совета накануне матча я испытал ощущение нокаутирующего удара, услышав: «Я вместо Андрея поставил бы Василия».

Правда, на этот раз палевая кисть оказалась в меньшинстве. А после матча «профессор», спокойно улыбаясь, хлопнул меня по потной майке – я носился в игре как угорелый – той же палевой рукой и сказал: «Понял, что значит вовремя дать хлыста!»

Я понял и никогда не забывал, каким неподкупно чистым в своей любви к футболу был этот выдающийся игрок. Самый миниатюрный центральный нападающий из всех когда либо игравших на этом месте за сборную команду СССР, Исаков пробегал без мяча сто метров за четырнадцать секунд, но его никто не мог догнать с мячом в игре, потому что он умел, как никто, вовремя обводить и вовремя пасовать.

Листая страницы юности, вспоминая метания, оставившие в памяти неизгладимый след среди первых впечатлений о рысистом спорте, борьбе, театре, я вижу, как сначала исподволь, потом все заметнее и заметнее футбол выдвигался на первое место среди многочисленных увлечений, и не только моих, но и всех четырех братьев.

Да что братьев! Сам дядя Митя не устоял под натиском домашней эпидемии. Он признавал только один вид спорта – бега. Когда гражданская война лишила его возможности практически заниматься егерским делом, он все свободное от домашних забот время отдавал конюшне Матвея Ивановича Чуенко, из любви к лошади безвозмездно выполняя обязанности конюха. Но по лесам и болотам скучал. С тоской посматривал на висевшее в комнате ружье.

Но вот однажды раздался телефонный звонок. Дядя Митя особенно почтительно выговаривал в трубку: «Слушаю с, слушаю с!» Звонил Николай Петрович Горбунов, управляющий делами Совнаркома – любитель спорта, альпинист, охотник.

По поглаживанию усов, с медленным пропуском то левого, то правого жгута между большим и указательным пальцем, я уже знал – сообщение было приятное. Так и оказалось: Горбунов просил организовать охоты на волков.

Охоты состоялись. В них участвовали в разное время Ворошилов, Крыленко, Дыбенко. В холодных сенях опять лежали убитые волки. Во дворе в собачнике вновь появились сеттеры и пойнтеры.

Дядя Митя с сожалением вздыхал: «Эх, Петрункевич не дожил, – так он в хорошем расположении духа называл любимого брата, моего отца. – Поохотились бы!»

Но о футболе воспрямивший егерь продолжал говорить только пренебрежительно. На успех сборной в Скандинавии отозвался презрительно: обманули небось шведов какнибудь.

И все же футбол дождался своего часа. Дядя Митя в котелке, с нафабренными усами, с палкой с серебряным набалдашником сидит на трибунах в день открытия стадиона на Красной Пресне. Гудит, строго поглядывая на молодежь: «Исаков, профессор». Дома главный спорщик: «Мало ли что „профессор“ сказал». Продолжая работать егерем, он в свободное время не пропускал ни одного матча, успевая побывать и в конюшне у Чуенко.

В 1928 году, придя домой со стадиона, дядя Митя внезапно умер. В холодных сенях не стало убитых волков. Собачник во дворе опустел: сеттеры и пойнтеры там больше не лаяли. К нам в дом стучался большой футбол, оттеснив все остальное на второй план.

Глава 4

ВСТРЕЧИ, РАЗМЫШЛЕНИЯ...

Особой метой обозначился в моей жизни 1926 год. С легкой руки «профессора», Петра Ефимовича Исакова, весной я был выдвинут в основной состав команды, как теперь говорят, мастеров, а осенью впервые стал чемпионом Москвы.

Век акселерации в спорте тогда еще не наступил. В свои 19 лет я был самым молодым футболистом в нашей команде.

До того как подняться на эту по тем временам высшую ступень футбольной иерархии, я отдал дань мальчишеским увлечениям. Память прихотлива: ни разум, ни сердце ей не указ, у нее свои мерки. Многого проходит мимо ее механизма, не запоминается. Но запомнившееся, по видимому, и надо считать наиболее существенным.

Хорошо помню свои спортивные метания из одной секции в другую. «Дядя Ваня», с его романтической цирковой борьбой, затянул на ковер, возбудив во мне наивное стремление стать Поддубным. С помощью рыжей гири во дворе, не щадя ни себя, ни времени, я пытался накачать мускулы. Но дело подвигалось туго: я быстрее шел в рост, чем в объем. Петр, иронически следивший за моими потугами, беспощадно бросил: «Тонконогий». Впоследствии он звал меня просто «Нога». Это было очень оскорбительно, потому что футбол во мне жил неистребимо, а ноги знаменитого Канунникова мальчишкам спать не давали, восхищая объемом в бедре «в три обхвата», а тут презрительное – «Нога».

Разочарование в борьбе наступило быстро. Руки у меня были под стать ногам, и никакие «нельсоны» и «бра руле» им были не под силу. В тренировочных схватках на борцовском ковре в раздевалке Краснопресненского стадиона я каждый раз с любым противником печатал ковер своими лопатками.

Сейчас я со снисходительной улыбкой отношусь к моим юношеским просчетам. Но тогда это были мои маленькие трагедии. Сколько усилий, веры, стремления к мечте! Одна рыжая гиря доводила до полного изнурения, не говоря уже о позорном бессилии, которое я испытывал, лежа на лопатках под тяжестью навалившегося противника.

«Сдаешься?» – спрашивал победитель. Я гордо молчал. «А а, то то же!» – снисходительно произносил он, поднимаясь с ковра (правильнее сказать, с меня), знай, мол, где раки зимуют.

Здоровый, грудастый, превосходивший в секции всех силой и габаритами своей рыхлой фигуры, Ванька Арбуз придавил меня к коврику и не принял мое гордое молчание за согласие признать себя побежденным: он прохрипел, что будет держать меня в положении «туше», пока я не скажу вслух «сдаюсь». Я задышался под его потным телом в бессильных попытках вырваться из унижительного положения, но мое барахтанье было безнадежным. Выручил тренер, заметивший затянувшийся прием и прекративший насилие.

– Ну что, Нога, опять «победил»? – иронически спросил Петр, когда я вернулся домой.

– Во всяком случае, никому еще не сказал «сдаюсь», – ответил я, скрывая свои переживания от унижительной беспомощности под тяжестью потного Арбуза. С борьбой было покончено.

Я перешел в секцию бокса, организованную при нашем школьно спортивном кружке. В первом бою со своим одноклассником Борисом Сычевым, имевшим опыт участия в московских любительских турнирах, удар в челюсть поверг меня на помост ринга. Пребывание в нокдауне в значительной степени отрезвило меня от опьяняющих мечтаний стать Жоржем Карпантье. Тогда мы все знали, как этот уличный мальчишка, торговавший пирожками, услышав оскорбительную реплику от посетителя парижского кафе, коротким ударом в подбородок опрокинул в нокаут обидчика, который оказался ни больше ни меньше, как одним из фаворитов профессионального бокса. В последующем пирожник стал абсолютным чемпионом мира. Кого же из ребят минует соблазн стать Жоржем Карпантье, если тяга к спорту у него в крови? Но пирожник пирожником, а нужно еще призвание, талант. Ни того, ни другого у меня не обнаружилось, и Виктор Николаевич Прокофьев, школьный преподаватель физической культуры и спорта, прекрасный спортсмен, футболист, наш общий любимец и непререкаемый авторитет сказал мне: «Играй, Андрей, в футбол, чего тебе еще не хватает!»

Бокс ушел в сторону. Позади было и самое, пожалуй, сильное увлечение – беговым спортом на коньках. Раньше так и печаталось в огромных афишах на круглых рекламных стендах: «Сегодня бега». Это значит соревнование на «норвежских» коньках.

С самого раннего детства моим кумиром был Платон Ипполитов, младший брат чемпиона Европы 1913 года Василия Ипполитова. Вот уж кем мне хотелось быть, как говорится, до смерти. Я вырабатывал в себе характер негибкого бойца, соревнуясь с попутчиками по дороге из гимназии домой. Завижу впереди идущего и «приказываю себе» до угла догнать его и перегнать, но не бегом, а шагом, как в английской ходьбе. В этом соревновании я всегда выходил победителем над ничего не подозревавшим прохожим, тем более что когда я видел, что не успеваю шагом, то переходил на рысь.

Однажды на очередном этапе от угла Малой Грузинской улицы до калитки нашего дома я увидел перед собой почтенного человека в бобровой шапке и в шубе с меховым воротником шалью. Поравнявшись с солидным дядей, я почувствовал как он тоже нагнал. Взглянув на него, я увидел суровое, сосредоточенное лицо, словно высеченное резцом скульптора – крупный прямой нос, высокий лоб, энергичный подбородок. Ранняя седина серебрилась на висках моего попутчика. Мелькнуло что то знакомое в его облике, но в пылу захватившего меня азарта – не хватало на финише, у калитки, проиграть! – я не обратил на

это внимания и прибавил шагу, тая в запасе испытанное средство – переход на бег. Но когда до конца дистанции осталось десятка три метров и я попытался использовать свой беспроегранный тактический удар, то мой противник так стремительно рванул мимо меня спринтерским аллюром, что я безнадежно отстал и впервые потерпел поражение.

Это был доктор Николай Иванович Седов, выдающийся русский конькобежец. Он находился на закате своей спортивной карьеры. Я видел его на ледяной дорожке Патриарших прудов. Еще в те времена, когда о методике тренировок знали мало, Николай Иванович практиковал тренировочные занятия с отягощением. Он пробегал неисчислимое количество кругов на своих «норвегах» с удлинённым носком, сгибаясь под тяжестью длиннополой лисьей шубы, надетой на черное конькобежное трико.

Я узнал его, когда, смущенный поражением, подошел к калитке нашего дома, где он остановился после своего стремительного рывка.

– Ну, что, егерь, проиграл? – обратился он ко мне с доброй улыбкой.

– Разве вас обогонишь, – конфузливо оправдывался я. – Вас сам Платон Ипполитов обогнать не может. – И мне мерещились ноги доктора на ледяной дорожке, мощные в бедре и суховатые в икрах, без усталости покрывающие круг за кругом на Патриарших прудах.

Коньки в то время были очень популярны. Еще гремело имя Николая Васильевича Струнникова, чемпиона мира 1910 и 1911 годов. «Славянским чудом» называли его зарубежные газеты после триумфальных выступлений на скандинавских катках. Невысокого роста, крепко сбитый, он поражал мощью своего шага на дистанции. Прекрасный многоборец, Николай Васильевич ставил рекорды на всех четырех классических дистанциях. Особенное удивление вызвал его рекорд на 500 метров, поставленный на Патриарших прудах. По теперешним временам результат 46,6 секунды более чем скромный, тогда он считался феноменальным. На дорожке с четырьмя поворотами, по шершавому, с трещинами льду не так то просто покрыть 500 метров за такое время. Я еще застал Струнникова на ледяной дорожке.

Зеленые елки, уставленные в сугробы снега, опоясывали весь каток. Гирлянды разноцветных флажков, протянутых с дерева на дерево, окаймляли ледяное зеркало, духовой оркестр, разместившийся в деревянной раковине, под управлением усача капельмейстера Салищева гремел на весь квартал. Множество катающейся в разноцветных костюмах публики внутри беговой дорожки, отгороженной толстым канатом, висающим на столбиках по всей дистанции. И маленькая фигурка в белом свитере и черном трико, пожирающая пространство на никелированных коньках, сопровождаемая неумолчными призывами толпы, темной лентой плотно опоясавшей снежные откосы: «Струнников, наддай! Струнников – наддай!» Все это запомнилось как удивительно привлекательное, сказочное зрелище, как большой спортивный праздник.

Всеобщее ликование разделяли и известные уже тогда братья Василий и Платон Ипполитовы, Никита Найденов и зреющая смена с катка «Девичье поле» Яков Мельников, Григорий Кушин.

Николай Иванович Седов был среди них патриархом, чемпионом Москвы и России более ранних лет, любимцем всей ребятни нашего района, проживавшей на Грузинском валу, вблизи Трындинского переулка. Знакомы с ним были и отец с дядей Митей. Отсюда и побежденный «егерь»...

Однако, как я уже говорил, мое воображение пленил Платон. Он выступал в шелковом золотистом трико и маленькой белой шапочке, как у ученого или врача – лодочкой. Отточенным мастерством Василия выходили на динамовский лед любоваться чемпионы мира Микаэль Стаксруд, Ганс Энгнестанген и Ивар Баллангруд, когда он уже в разряде ветерана выступал на международных соревнованиях. Неукротимой мощью своего бега Яков Мельников в тот же день на дистанции 10 000 метров в паре с чемпионом мира Стаксрудом заставил впасть в состояние массовой истерии 30 000 зрителей, наблюдавших, как москвич сокращает расстояние, находясь, казалось бы, в безнадежном положении, и вырывает победу. Никита Найденов поражал любителей скоростного бега, пробегая всю

десятикилометровую дистанцию «с руками», то есть делая в своем устремлении к победе то, что под силу делать только спринтерам на пятисотметровке. Но меня все же именно Платон Ипполитов, как никто, приводил в восторженное состояние своим непостижимо легким бегом, я бы сказал, музыкально выверенным ритмом движений на поворотах, артистичностью пластики при прохождении прямой. Платон Афанасьевич Ипполитов бежал настолько без видимого утруждения, что его неудачи вызывали у меня недоумение: почему же проиграл, вроде бы и не устал совсем?

Братья Василий и Платон были выдающимися спортсменами. Помимо множества рекордов, установленных ими на коньках, и высоких титулов чемпионов, завоеванных на ледяных дорожках, им принадлежали и рекорды и звания чемпионов страны в велосипедном спорте. Старший, Василий, больше отличался в спринте и великолепно лидировал на мотоцикле в заездах для стайеров велосипедистов. Платон в гонках за лидером на длинные дистанции был выдающимся трековым бойцом.

Василий никогда не лидировал Платону. Спортивная конкуренция лишила братьев духа доброй воли в отношениях друг с другом. Одинаковые по своим спортивным достоинствам, они оказались совершенно несовместимы в быту. Тем более не прекращалась бескомпромиссная борьба на ледяной дорожке. Не надо подсчитывать, кто из них больше сделал в спорте. Славы их на стадионах и треках и не прибавить и не убавить. И в зрелом возрасте они не покинули спорт. Василий имел золотые руки. Все хоккеисты приклепывали коньки у него. Меняли спицы и выправляли восьмерки на своих стальных конях велосипедисты тоже у него.

Платон уверенно держал в своей руке перо спортивного журналиста. Когда я стал постарше, у меня с обоими братьями установились очень теплые отношения. Разница в возрасте совсем не была помехой. Однако одновременно с обоими в компании быть не пришлось. Но ведь вот что странно. В общении один очень напоминал другого. Та же жизнерадостность, тот же юмор, тот же прагматический склад ума.

– Василий Афанасьевич, – спрашиваю, – почему не выступаете давно?

– Призов не дают, – отвечает.

– Так уж и призы обязательно давать.

– Ну, пусть платят по рублю за метр.

– Чересчур дорого, – не сдерживая смеха, возражаю я.

– Ну, п п по полтиннику, – тоже со смехом резюмирует Василий Афанасьевич. А между тем выцеливает, щуря глаз, правильную посадку конька к ботинку, приставив задник лезвия к переносице. А молоток так и всаживает заклепку за заклепкой в металлическую подошву. Разговор происходит в его мастерской, на Ленинградском шоссе.

– Ну, как там писарь поживает? – полюбопытствует Василий, отдавая коньки.

А «писарь» Платон тоже работал не покладая рук. Он был одаренный журналист. Его статьи, обозрения читались с интересом, потому что он понимал, о чем писал.

– Шабашника видишь? – спросит при встрече Платон и рассмеется своей придумочке каким то только ему свойственным манером, выдавливая через сомкнутые зубы – дзы дзы дзы!

Уже на закате их конькобежной карьеры жребий свел братьев в одну пару на дистанции 1500 метров. Любители скоростного бега на коньках на все лады разбирали шансы непримиримых конкурентов. У Василия эта дистанция была коронной. Именно на ней он продемонстрировал феноменальный финиш, когда в последний поворот вкатился по большой дорожке сзади легендарного Оскара Матиссена, непобедимого норвежца, обладателя мировых рекордов на всех четырех классических дистанциях. И все же закончил дистанцию впереди своего грозного соперника и стал чемпионом Европы. У Василия был и лучший результат на эту дистанцию – 2 мин. 22 сек., правда не считавшийся рекордом, так как был показан на катке в Норвегии. Тогда результаты, достигнутые за рубежом, как рекорды России не утверждались.

Любимой считал «полуторку» и Платон. У всех в памяти был незабываемый бег, когда на этой дистанции решалась судьба первенства России. Вели битву на льду Яков Мельников и Платон Ипполитов. Накануне воспитанник «Девички» Яков Мельников, еще не вошедший в зенит своей славы, вырвался вперед, одержав победы по двум дистанциям первого дня – на 500 и 5000 метров. Платон сделал все, что мог, для сохранения престижа. В ходе всей борьбы по дистанции он шел на пределе своих сил, но, как всегда, без видимого утруждения. Рядом непримиримо зло стремился к победе Мельников. Так и закончили эту беспримерную схватку два сильнейших конькобежца того времени «конек в конек» с всероссийским рекордом – 2 мин. 27,2 сек.

Дело не в том, что этот результат сегодня побьет перворазрядник. А в том неиссякаемом заряде энергии, в неистовом темпераменте, с которым вели борьбу два выдающихся спортсмена. Впоследствии я расспрашивал Платона Афанасьевича об этом беге.

– В глазах потемнело, но я сказал себе: умру, а не проиграю! И не проиграл, дзы... дзы... дзы, – рассмеялся он, довольный приятным воспоминанием.

Рассмеялся и я, и вот над чем: незадолго до этого мы с Яковым Федоровичем выступали в гостях у «Комсомольской правды». Делясь воспоминаниями об этом забеге, маститый чемпион говорил: «Неимоверно было тяжело, но я сказал себе: умру, а не проиграю. И не проиграл!»

Не знаю, давали ли себе клятву братья, стоящие на старте, когда их свел жребий в одну пару на 1500 метров, или не давали, но бой был жаркий, думается, лед плавился от полыхающей страсти, с которой стремились они вперед. Платон проиграл. Впервые ему изменил стиль: он казался уставшим. С достоинством проследовал младший брат в раздевалку, и только ему известно, что переживал он в эти минуты. Я у него об этом никогда не спрашивал.

Не раз и мне приходилось в сверхтрудные моменты футбольного матча шептать себе: «Умру, а не проиграю!» – и, выбив у противника в последний критический момент мяч, с удовлетворением отметить: «И не проиграл!»

Уроки прошлого трудно переоценить. Примеры лучших представителей старшего спортивного поколения – самое действенное средство психологической подготовки к соревнованиям молодежи, превосходный целительный бальзам на взволнованную предстартовой лихорадкой душу преемника.

Такое положение верно не только для спорта, оно применительно ко всей нашей жизни. Кто живет, тот соревнуется. Кто соревнуется, тот живет. Раз так, значит: да здравствует связь времен и поколений, сочетание опыта и молодости!

Так или примерно так можно сформулировать взгляд на жизнь во всех ее проявлениях, который сближал меня с Михаилом Михайловичем Яншиным на протяжении многих лет нашей дружбы.

Особой метой 1926 год отмечен в моей судьбе не только потому, что я стал чемпионом Москвы. В этом же году Художественный театр показал премьеру, вызвавшую широкий резонанс в общественных кругах столицы. Только и разговору было что о «Днях Турбиных». Фамилии главных исполнителей – Н. П. Хмелева, В. С. Соколовой, И. М. Кудрявцева, Б. Г. Добронравова, В. Я. Станицина, Е. В. Калужского, М. И. Прудкина, В. Л. Ершова – были у всех на устах. Прелесть пьесы во многом и заключалась в том, что в ней не было незначительных ролей, от самой малюсенькой – сотника, которого играл Малолетков, до главной – Алексея Турбина. И все они были выполнены актерски безукоризненно.

И все же с особой теплотой любители театра отзывались о молодом артисте Яншине, до этой премьеры никому не известном, бесподобно сыгравшем в ней роль Лариосика.

– Да ты сходи посмотри, – убеждал меня Николай, уже видевший нашумевшую пьесу.

Я пошел. Потом пошел второй раз. Потом третий. Потом десятый... пятнадцатый... двадцатый...

Простодушный племянник из Житомира – Лариосик, по провинциальному наивный, в серой гимназической куртке, с галстуком, завязанным пышным бантом, с лучезарной улыбкой раздаривал свою доброту тоже добрым, но напуганным разразившейся за стенами их дома революционной грозой, ломающей до основания привычный им буржуазный порядок вещей, людям. Лариосик был настолько притягательным, что весь зрительный зал с момента его появления в доме Турбиных попадал под обаяние образа, созданного молодым актером.

В то время школьная скамья свела меня с очень привлекательной ученицей Надей Киселевой. Смуглая, стройная, белозубая, она была нашей школьной королевой. Вдруг среди учеников прошел слух, что наша «красавица с прямым пробором в черных волосах» выступает в цыганском хоре Егора Полякова в ресторане «Арбатский подвал».

Я со своим школьным другом Сергеем Ломакиным пошел в этот небольшой уютный ресторан, размещавшийся в подвальном помещении дома №9 по старому Арбату.

И в самом деле, среди пестроцветных шалей, накинутых через плечо знаменитых цыганских певиц, полукругом сидевших на сцене, центральное место занимала совсем юная Ляля Черная. Такой сценический псевдоним взяла себе Надежда Сергеевна Киселева, дочь бывшей танцовщицы цыганки Марии Георгиевны, урожденной Поляковой. Отец Ляли – так мы ее зовем и по сие время – Сергей Киселев из знатной богатой московской семьи, близкой семье Антона Павловича Чехова в мелеховский период. Но к тому дню, когда Ляля Черная в «Арбатском подвале» только начинала свою славную артистическую карьеру, никаких богатств у овдовевшей матери, кроме двух дочерей на выданье и их младшего брата Владимира, впоследствии тоже актера театра «Ромэн», не было. Жила тогда Мария Георгиевна в первом этаже густонаселенного дома на площади против Страстного монастыря, стоявшего на месте памятника Пушкину: по монастырю и площадь называлась Страстная.

Довольно долгое время после посещения ресторана я Лялю не видел. Но вот встретил ее на Тверской, идущей под руку с молодым человеком, одетым в клетчатое, рыже коричневого цвета пальто. Пара блистала молодостью и яркостью цветов в одежде. Владельцем рыже коричневого пальто был Михаил Михайлович Яншин, невысокий худощавый молодой человек. Пара была уже достаточно известной, и отдельные прохожие восхищенно восклицали: «Ляля Черная!.. Яншин!..»

Я тоже не скрывал своих симпатий к ним и выразил полный восторг, когда Ляля сказала: «Это мой муж, Михаил Михайлович Яншин, а это знаменитый (она именно так и сказала, будучи всегда расположенной к друзьям) футболист Андрей Старостин».

На мне был остроплечий пиджак, только что приобретенный за границей, как я заметил, явно вызвавший любопытство Яншина. Помню, я про себя обругал Лялю за «знаменитый», тем более что меня смущал мой экстравагантный наряд. Мне почудилось, что плечи у меня вздыбились до ушей.

Позже мы нередко играли в вопросы: «Куда делись ваши искусственные плечи?» – «А где ваш музейный, рыжий в клетку балахон?» Но это было позже, когда жизнь нас поставила, как говорят, на дружескую ногу.

А пока я, очень польщенный их приглашением, свернул вместе с молодоженами за угол Страстной площади. Мы вошли во двор огромного дома, проследовали к месту жительства Яншина. Это была маленькая продолговатая комната келья, но с высоким потолком. Единственное окно упиралось в стенку брандмауэра и едва пропускало дневной свет.

Появление Петра Петровича Кончаловского вызвало оживленные возгласы молодых хозяев, обрадованных приходом маститого художника.

В ответ на извинения хозяев на тесноту Петр Петрович, показав на глухую стену за стеклом окна, пошутил: «Да я вам на этом фоне такую Венецию размалую, что все стены раздвинутся, и как в гондоле на голубой воде канала жить будете».

А потом, сидя за столом, присмотревшись к рукам хозяина, серьезно, как бы подчеркивая наблюдение, сказал: «Лепить ваши руки то надо, Яншин, – и категорически утвердительно добавил: – Лепить. Я это обязательно сделаю, наградил же вас бог!»

Руки Михаила Михайловича действительно привлекали внимание: широкая тыльная часть кисти выглядела мощным основанием для несколько притолщенных в первой фаланге, сходящих на конус длинных пальцев. От кисти руки оставалось массивно скульптурное впечатление. В актерской практике Яншина, как я часто наблюдал, его руки несли особую творческую нагрузку, в жесте, в пластике артиста. Может быть, я и не заметил бы этого, но острый глаз художника заставил помнить – «наградил же вас бог».

Пришел Борис Ливанов, высокий, статный, красивый. Он знал о всех своих достоинствах и не старался скрыть это. Он говорил в повелительном наклонении густым баритоном, как бы доказывая кому то свое право на признание, модулируя звук, сам любясь возможностями своего голоса. В дальнейшем много общаясь с ним, я, вспоминая первую встречу, понимал, что тогда не ошибся, считая, что из молодого актера прямо таки выпирал наружу его талант и это не была бравада, это природный талант артиста, его мощный темперамент, требовавший безотлагательного признания, говорил в нем – мы молодые, мы красивые, мы умные – мы все можем!

Оживления в «гондолу» привнес пришедший Иосиф Моисеевич Раевский, друг Яншина с юности. Он любил рассказывать, как проживавшая у Красных ворот хлебосольная московская семья приютила его, приехавшего, как Лариосик из Житомира, в небольшой квартире, где он разместился в передней на сундуке. Как после бессонной от волнения ночи он «вместе с Мишей» отправился на приемный конкурс в студию Художественного театра. Как трепетали они – «вместе с Мишей», – увидев в приемной комиссии прославленных «стариков» театра. Как обуяла их радость – «вместе с Мишей», – когда они прочли свои имена в списке принятых, и как вспрыснули они – Раевский на этом месте делал небольшую паузу и продолжал – «уж, конечно, вместе с Мишей» – свою победу.

В непринужденной беседе, где главной темой был театр, искусство, живопись, Петр Петрович продолжал посмеиваться по поводу «гондолы», все увеличивая масштабы будущей фрески на брандмауэре, приговаривая: «Плывать вам по этому ультрамарину во все страны света, какие горизонты откроются перед вами!»

Читал что то Борис Ливанов. Спел свой любимый романс Михаил Михайлович Яншин. Пел он фальцетом, удивительно музыкально, оттеняя смысловую нагрузку каждого слова в тексте. Романс начинался словами: «В тень зеленого старого, старого дуба голосистая птичка попала...» Яншин еще не был никаким старым дубом, а Ляля не была уж такой птичкой невеличкой, но Яншин так мягко, так деликатно вел свой музыкальный рассказ, так смотрел на молодую жену и такой влюбленный взор шел ему в ответ, что думалось, будто романс и написан о них и что Яншин могучий зеленый дуб, а Ляля та птичка, которая приютилась в его развесистых ветвях и будет «сладко ее щебетанье!».

Потом танцевала Ляля. Помню, как я был поражен профессиональной пластикой ее танца, напоминавшей уже знаменитую Марию Артамонову.

Мария Артамонова безраздельно царила в цыганской пляске, как дочь своего народа, сумевшая выразить в танцевальном движении и удаль, и боль, и гордость, и страсть цыганского характера, заставившая откликнуться на свой талант Сергея Александровича Есенина. Лицо Артамоновой озарялось «несказанным светом», как только она делала первый шаг под начальный аккорд цыганской венгерки. Танцовщица тонко чувствовала грань, переступив которую зажигательный народный танец превращается в шантанную вульгарность. Ее сдержанный темперамент исключал надуманные вульгаризаторами изгибы, изломы и даже распластывания на подмостках, в совсем несвойственной позе для цыганского фольклорного танца. Мария Артамонова нашла себе достойную преемницу в лице Ляли Черной.

В пляске Ляли тоже чувство ритма, слитность движения и музыки, порыва и сдержанности, элегантной пластичности (не будем бояться применить этот термин к

цыганской пляске, именно в ней это качество наиболее важно: или пляска по народному благородна, или по кабацки вульгарна), но свой почерк у каждой остался сохраненным. Может, у Марии он был ближе к шатру, у Ляли – к салону.

Во всяком случае мне бросился в глаза скачок от школьного танца до профессионального мастерства, что она показывала сейчас, буквально на комнатном пятачке в «гондоле», заполненной к тому же сидящими гостями. Ее точно стройная фигура легко и изящно двигалась на небольшом пространстве. Нога, с круто выгнутым подъемом, легким шлепком, «по цыгански» отбивала такт, и всплескивались руки то в стороны, то вверх, то плавно, то стремительно поспевая за гитарой, – все это было прекрасной живой картиной красоты, молодости и счастья. Яншин млел. Да и мы все тоже млели.

За окнами было уже светло, когда Иосиф Моисеевич исполнил свой коронный номер, которым обычно заканчивались дружеские встречи по поводу каких либо семейных торжеств. Он спел:

Скатерть белая залита вином,
Все гусары спят непробудным сном,
Лишь один не спит, пьет шампанское,
За контрольто пьет, за цыганское...

И скатерть не была залита, и никаких спящих гусаров не было, была молодая, наступающая сила в театральном искусстве. Еще не было «Последнего табора» в кино, после которого все подпевали Ляле Черной – «Ой, да ту распхэн, распхэн, бродяга»... Еще не было сэра Питера, с его умильным дуэтом под аккомпанемент яншинской флейты – «Голубок и горлица никогда не ссорятся»... Еще не было до неузнаваемости преобразившегося в роли Соленого и совершенно непохожего на него Кудряша в исполнении Ливанова. Еще Костылев не был бесподобно сыгран Раевским и в звании профессора Иосиф Моисеевич еще не состоял. Ничего этого не было, как не было ни у кого из присутствующих артистов никаких званий и заслуг.

Но зато была неумная жизнерадостность и вера в светлое будущее. Впоследствии каждый получил свое. Каждый утвердил себя в истории искусства, оставив о себе память в благодарных преемниках. Но пока, пока надо было преодолевать барьеры: гладкой дорожки в жизни нет, всегда с препятствиями.

Как бы ни была хороша компания, она обязательно расходится. Рассвет давно постучал в окно. Ляля с Михаилом Михайловичем вышли нас проводить. На углу Тверской, у дома ВТО, Яншин, галантно согнув руку, подошел к Ляле. По пустынному тротуару ранним осенним утром понеслась в темпе мазурки легкая пара. Они были так непосредственны и упоены молодостью своей жизни, что милиционер, стоявший близ здания Моссовета, снисходительно улыбнулся.

Я шел домой пешком, переполненный впечатлениями. В Москве тогда было много извозчиков. И деньги у меня имелись – как никак за сборную я уже играл, – но на извозчике ехать не хотелось. Что то меня беспокоило: я был очень доволен восстановившимся знакомством с Лялей, позволившим мне провести вечер с такими интересными людьми, но душевного равновесия не находил, внутри ощущал какую то червоточину. Такое настроение бывает, когда команда матч выиграла очень эффектно, убедительно, а ты своей игрой не удовлетворен.

Прогулка до дома в одиночестве мне понадобилась, чтобы разобраться в своих впечатлениях. Я мысленно проследил свое поведение. Нет, подумалось мне, провала не было. Мало участвовал в общем разговоре? Не такая уж беда. Пил, ел больше других? Наоборот, скромно и в этом отношении себя вел. Ничего не исполнил? Так я же не артист, у меня и слуха то нет. Одним словом, положительную оценку за дебют в таком обществе мог бы поставить.

Так в чем же дело? Откуда неудовлетворенность, там, где то на самом дне души?

Конечно, не сразу, но причину неудовлетворенности я установил. Дело в том, что в свои неполных двадцать лет я возомнил себя постигшим все. Футбол – во всяком случае. Мне казалось – теперь только вперед, раз я уже стал чемпионом Москвы. Борис Ливанов говорит: нам, молодым, дорогу. Я молчу, но мысли схожие: я все знаю, все могу, только у Бориса по поводу театра, а у меня – футбола. Мне тоже кажется, что нам, молодым, должны уступать дорогу игроки старших поколений, вроде у них и учиться нечему. А вот Яншин о своих «стариках» отзывается с такой почтительностью, как верующий о патриархе. Запомнился пример, который он привел, когда речь зашла об отношении к делу, о святой преданности искусству. Константин Сергеевич Станиславский критиковал артистку, выступавшую с пением романсов в концерте. Он говорил: «На сцене артист как на ладони. К нему прикованы тысячи глаз. Вам надо спеть романс и приковать именно к нему все внимание слушателей. А у вас сплошь кольца на руках. Я из за сверкания ваших колец просто и не услышал, о чем вы поете...»

А для меня авторитетов в футболе уже не стало. Не много ли я навешал на себя сверкающих фальшивым светом колец самомнения?

По странной ассоциации, но мне в этот момент особенно ненавистными представились острозаглаженные, приподнятые плечи моего пиджака. Уж не эти ли кольца имел в виду Яншин, когда рассказывал о Станиславском?

Я так подробно пишу об этом вечере, потому что он сильно взволновал меня. И в значительной мере определил мое отношение к собственной персоне. Я понял, что Яншин более самокритичен, будучи уже известным актером. Он рассказал, как Станиславский порекомендовал ему убрать излишне комические черты в сценическом образе Лариосика. Зачем играть так, что в зале все время смех. Основная драматическая линия катастрофы Турбиных смазывается. «Во имя интересов ансамбля пришлось наступить на горло собственной песни: снять сверкающие смехом кольца», – заключил Яншин свой пример из педагогики Станиславского.

В общем, классическая французская поговорка: «О, если бы убеленная сединами старость могла! О, если бы полная сил молодость умела!» – до этого вечера мне незнакомая, заставила меня призадуматься. Калитку в наш двор я отворял с сознанием чего то важного, пережитого, что еще не закончилось, но продолжение чего обещает что то хорошее.

Так началось мое знакомство с Яншиным. Мы стали часто встречаться. Тесное общение на протяжении многих лет перешло в дружбу, тем более что в трудные минуты, а они, эти большие трудности, исчислялись не минутами, а годами, страждущий в беде без дружеского отклика не оставался.

Народный артист СССР, лауреат Государственных премий Михаил Михайлович Яншин, даже если бы он не имел этих почетных званий, оставался бы личностью, заслуживающей внимания большой литературы. Он был настолько многогранен, насколько и эрудирован, настолько добр, насколько и требователен, настолько щедр, насколько и не расточителен, настолько воспитан, насколько и раскован, настолько азартен, насколько и сдержан, настолько любим, насколько и предан.

Так, может быть, он был душевно расчетлив? Сколько мне, столько и от меня? Страшусь подумать, как бы он вскипел, услышав подобное. И вскипел бы по праву, потому что он исповедовал высший принцип человеческой этики – от меня по потребности, мне по возможности. Разумеется, что не всегда потребность другого может удовлетворить самый высокий гуманист, но нести в себе эту этическую норму уже есть благо. Яншин ее нес и в меру своих возможностей осуществлял.

Когда же я перечисляю «насколько насколько», то лишь говорю о широте его натуры. Например: он был до скрупулезности точен в расчетах за услуги с носильщиками, таксистами – не расточителен; но совершенно не знал удержу в желании чем нибудь угостить того же таксиста, носильщика, превышая затраты «на чаевые» во много раз: доброта. Я уже не говорю о домашнем хлебосольстве в любое время дня и ночи.

Круг интересов Яншина был необычайно обширен. В день его шестидесятилетнего юбилея ему подарили карикатуру, смысл которой сводился к тому, чтобы показать озабоченного своими делами Яншина. В спартаковской майке, в трусах, с удочкой, с наездническим хлыстом, с ружьем, с бильярдным кием, со всевозможными атрибутами, обозначающими его увлечения, он с беззаботной, жизнерадостной улыбкой отправляется в новый день.

Влюбленный в театр, пожизненно посвятивший себя искусству, конечно, Михаил Михайлович львиную долю времени отдавал тому, чему поклонялся – сцене. Но то небольшое свободное время, которое оставлял ему театр, он использовал интенсивно и разнообразно. Разве что отдавая предпочтение конному спорту и в некоторой мере столу с зеленым сукном.

Человек он был азартный. Сакраментальной картой в покере для него был «стрит». Ему доставляло огромное удовольствие вышибить противника из игры, имеющего на руках более сильную карту.

Однажды он попросил у меня займы. Предстояла игра в покер. «Вы опять на свой „стрит“ все просадите». – «Я, – говорит, – буду жаться». Николай Николаевич Асеев покерист – палец в рот не клади. Глаза серые, стальные, сидящий чуб на лоб приспущен, в упор смотрит на Яншина и объявляет: «Плюс!» Яншин мой как начал в ответ плюсовать, даже покраснел от натуги. Да разве Асеева выбьешь. Оказалось, у Николая Николаевича – каре, четыре валета, а у Михаила Михайловича – все тот же «стрит».

Для Михаила Михайловича ставка не играла решающего значения. Его игровой темперамент разгорался не из-за ставки. Его интересовал результат, как таковой. Он соревновался, он прежде всего вел спортивную борьбу – кто лучше понимает, кто лучше действует, кто лучший психолог, у кого характер сильнее. Он с одинаковым увлечением играл вовсе без денег в шахматы или в бильярд.

Александра Павловна – мать Яншина, до самых преклонных лет сохранившая здравый ум и хорошую память, была его постоянной партнершей в редкие часы досуга Мишеньки. Надо было видеть, с какой расчетливой скрупулезностью шел перерасчет при подведении итога, кто кому должен двадцать копеек. У сына сердито, по медвежьей поблескивали глазки – «тебя разве переспоришь». Но Александра Павловна хорошо знала счет гривенникам, научившись этому еще смолоду, ведя хозяйство в семье среднего московского достатка, – «Ты, Мишенька, под стол пешком ходил, а я уже без ошибки дневной расход подсчитывала». Яншин лез в кошелек, копался в нем своими скульптурными руками и доставал двугривенный. Бывало и наоборот: платить надо было Александре Павловне. «Сейчас отдам», – говорила тоже нелюбившая проигрывать Александра Павловна. «На стол, на стол – тороплюсь, на репетицию опаздываю», – довольный, поднимаясь со стула, приговаривал сын, явно подтрунивая над расстроившейся мамашей. Я хотел написать старушкой, но это определение просто не подходит к Александре Павловне. Она была крупная, статная, сохранившая ту свежесть взгляда, когда пожилую женщину старушкой не назовешь.

Яншин получал свой двугривенный и торжествующий прощался с матерью, уже с заботливой влюбленностью смотревшей на своего «противника»: «Когда зайдешь то?»

Он заходил часто и аккуратно в Шереметьевский переулок, где жила Александра Павловна со своей дочерью Евдокией Михайловной, с внучкой Натальей и правнуком Федей. Он был очень внимательный и как сын, и как брат, и как дядя, и как дед. Здесь в права вступала яншинская щедрость. Счет шел не на гривенники, а по потребности любимых родственников.

Вот так он соревновался, волновался, нервничал и отдыхал от внутреннего творческого напряжения, которого требовал театр.

Запас энергии в нем был неисчерпаемый. Он был очень легкий на подъем, и в этом я очень быстро убедился.

На другой же день после нашего знакомства раздался звонок по телефону. Я сразу узнал его голос. Только Яншин здороваясь протягивал так свое «здра а а ствуйте!».

– Мастер, – он часто называл меня именно так, предвосхитив это узаконенное впоследствии официально спортивное звание, – вы помните, что уговорились сегодня побывать в «Кружке»?

Я хотя и запамятовал это, но ответил: «Конечно, помню», и мы вновь подтвердили встречу на бегах.

День был воскресный, в программе значились большие именные призы. Об этом мы, будучи оба заядлыми беговиками, знали накануне, коротко обменявшись мнениями по поводу возможных фаворитов еще в «гондоле».

И на бегах Яншин был Яншиным. Главным критерием оценки лошади у него было собственное мнение. Он тем более на него опирался, что считал себя сведущим в рысистом спорте не менее, чем любой другой посетитель ипподрома. «Я сам в качалке сидел», – был его уничтожающий аргумент, сражавший спорщика наповал. И действительно, Яншин неоднократно ездил на призы и на Московском, и на Харьковском ипподромах. Ездил довольно успешно: подъезжал к призовому столбу и первым и вторым. Правда, это было в те далекие времена, когда он весил вдвое меньше. Как то он захотел вспомнить молодость и проехать на приз по дорожке Харьковского ипподрома. Затея могла закончиться драматически.

Наш общий друг наездник Павел Матвеевич Чуенко собрал ему жеребенка в самую прочную качалку. Пока по прямой выезжали на старт, все шло хорошо, жеребенок тянул непривычную тяжесть не капризничая. Но на крутом повороте к старту качалка седока не выдержала, и левое колесо поломалось. Яншин рухнул вниз, и быть бы беде, если бы жеребец был нервный. Думаю, что получилось бы хуже, чем у меня с Гвидоном.

Отговорить Яншина прекратить попытку не удалось. Колесо сменили. И он таки закончил дистанцию, заняв в заезде второе место. «Мог бы быть первым, но на старте не энергично распорядился», – рассказывал он о своем выступлении в роли наездника на Харьковском ипподроме...

Помню, что в тот воскресный день нашего совместного посещения бегов Яншин очень успешно играл в тотализаторе. Угадывал много заездов и был в довольно крупном выигрыше. Я тоже не новичок на бегах, но был удивлен такой удачей. Чаще бывает наоборот.

В хорошем настроении новый знакомый повез меня в «Кружок».

Этот вечерний очаг московской культуры был родным, гостеприимным домом столичной интеллигенции на протяжении многих довоенных лет. Среди артистов, художников, литераторов и представителей всех других видов искусства так и бытовало выражение «поедем в Кружок», «встретимся вечером в Кружке».

В Старопименовском переулке, близ Садово Триумфальной площади существовал небольшой островок из нескольких восьмиквартирных домиков, где проживали известные москвичам артисты эстрады и театров – Владимир Яковлевич Хенкин, Клавдия Михайловна Новикова, Николай Капитонович Яковлев, Александр Абрамович Менделевич. В полуподвале одного из домиков и размещался «Кружок».

Хозяйничал, по другому не скажешь, в нем Борис Михайлович Филиппов, будучи директором «Кружка друзей искусства и культуры», этого клуба отдыха творческой интеллигенции. Борис Михайлович сумел широко организовать в нем культурно просветительную работу и создать совершенно непринужденную атмосферу домашности и дружелюбного общения между собой всех членов «Кружка» от «народных» и «заслуженных» до просто гостей. Вот и я в течение многих лет по небольшой деревянной лестнице спускался в эту большую полуподвальную квартиру, ставшую для меня вечерним университетом по воспитанию эстетики, этики и общей культуры молодого спортсмена.

О, там было чему и у кого поучиться! Именно в «Кружке», на маленькой сцене в небольшом зале, впервые со своими изустными рассказами познакомил москвичей совсем еще молодой Ираклий Луарсабович Андроников. Помню, как непосредственно, добродушно смеялись Алексей Николаевич Толстой и Василий Иванович Качалов, слушая удивительный

по мастерству исполнения рассказ юмореску пребывания Качалова в гостях у Толстого. Не надо было быть большим знатоком, чтобы безошибочно угадать в дебюте молодого ленинградца рождение большого таланта, такого необычного сочетания в одном лице литературного, артистического и музыкального дарований.

Совсем недавно в доме известного драматурга Исидора Владимировича Штока, встретившись с Ираклием Луарсабовичем, мы вспоминали тот давний вечер в «Кружке» как далекое, дорогое и близкое, но невосвратно ушедшее. Благодарно вспоминать о прошлом свойственно человеческой душе. «Что прошло, то будет мило», – писал поэт.

На смену полуподвалу пришли крупные культурные центры – Дом литераторов, где директором все тот же «домовой», Борис Михайлович Филиппов, с его неумемной энергией и заботой об организации действительно огромной культурно просветительной работы, в здании, в отдельный отсек которого вместился бы весь «Кружок»; Дом Всероссийского театрального общества, Дом композиторов, Центральный дом работников искусства, Дом ученых, Дом кино – все это в масштабах современных требований культурной жизни страны. Дети великаны прародителя из Старопименовского переулкa, в то время объединявшего в одну семью и артиста, и ученого, и композитора, и художника. Добрую память оставил он о себе, уютный полуподвал большой квартиры.

Вон, засучив рукава белоснежной сорочки, играет в бильярд Владимир Владимирович Маяковский, и мы слышим саркастическое: «Златая цепь на дубе том!»...

– Пойдемте к нашим, – говорит мне Михаил Михайлович Яншин и увлекает меня к столу, где сидят Павел Александрович Марков и Михаил Афанасьевич Булгаков. Совсем молодой, эрудит из эрудитов в области театроведения, ныне здравствующий профессор, очень приветливый «завлит» Художественного театра Марков прямо таки излучает радушие. Вопросами о футболе он помогает преодолеть некоторое мое смущение перед несколько чопорным Михаилом Афанасьевичем, автором нашумевшей пьесы. Простое, русское лицо драматурга, светлого шатена, с гладко зачесанной на пробор, набриолиненной прической, теплеет при непосредственном общении с Яншиным: Михаил Михайлович от природы обладал особым свойством душевно поговорить с людьми, вне зависимости от чина и звания собеседников.

Разговор шел профессиональный: о театре. О приоритете режиссера. О его главенствующем положении по отношению к актеру. Угадывая мою стеснительность, Яншин подбрасывал мне ниточки, ухватившись за которые я бы мог вплестись в разговорную ткань: а как у вас? Тренер или игрок?

Тогда в футболе этот вопрос еще не стоял так остро, как сейчас, и я отвечал уклончиво, но был благодарен Михаилу Михайловичу за эти деликатные пасы внимания.

За этот вечер я узнал много интересных людей. Яншин был знаком со всеми и, как я заметил, был любим всеми. А ведь, по сути дела, ничего еще, кроме Лариосика, не было. Позднее мне много приходилось бывать с ним на всевозможного рода приемах, в гостях, в домашнем кругу, на стадионах, в театрах. Везде он был непосредственным, живым собеседником, свободно высказывающим свое мнение.

Яншин не терпел фальши: не стесняясь в выражениях, обнажал ее и с трибуны и за столом, обличал фарисейские увертки, если кто то в угоду чему то или кому то прятался за формальное суесловие.

Он всегда очень высоко ценил уровень развития нашего спорта, в том числе и футбола. Но раздражению его не было предела, когда, слушая комментатора радио или телевидения, он замечал фальшь, необъективный репортаж. «Этот псевдопатриотизм нам не нужен, – гневно возмущался он. – Такой мед хуже дегтя! Он (собирательный тип комментатора аллилуйщика) меня патриотизму учит, да я не меньше его наш футбол почитаю. Где хуже, так и говори, где слабей, так и признавай. А где лучше, так мы сами во всю глотку закричим „ура!“». Нас патриотизму нечего учить, потому как мы сами знаем, что и где можно лачком покрыть для пользы дела, но не искажая истины!»

Когда один молодой комментатор прямо таки завизжал: «Г о о о л!» – фиксируя семнадцатую шайбу, заброшенную в ворота противника нашим хоккеистом на международном турнире, Яншин со словами: «Ох, батюшка мой, немоготу» – подошел к телевизору и переключил на другую программу.

Он и в искусстве не терпел формализма, сценического трюкачества, «разных выкрутасов». «Выпендривается», – частенько говаривал он по поводу манерности, претенциозности того или иного исполнителя, когда художественный вкус изменял актеру или режиссеру и тот переступал ту невидимую черту, за которой искусство перестает служить правде жизни.

Так, признавая режиссерскую одаренность Всеволода Эмильевича Мейерхольда, Яншин не принимал неумность его фантазии, «формалистические изыски» вроде красных, зеленых, синих лаковых париков, в которые он обрядил Гурмыжскую, Буланова, Несчастливцева в нашумевшей в свое время постановке пьесы А. Н. Островского «Лес».

Я смотрел этот спектакль бесчисленное количество раз. Тащась домой с хоккейной тренировки на Патриарших прудах, мы неизменно проникали на галерку, чтобы лишний разок посмотреть заключительный акт спектакля, послушать трио баянистов – Кузнецова, Попкова, Данилина, – виртуозно исполнявшего вальс по ходу пьесы, помнится называвшийся «Две собачки». Очень привлекал образ Аркашки Счастливцева в исполнении Игоря Владимировича Ильинского. Артист так правдоподобно тряс рукой во время рыбной ловли, в кисти которой прямо таки мерещился живой карась, вот вот готовый выскользнуть в воду.

Без конца можно было слушать язвительно насмешливую реплику актера неудачника, возмечтавшего себя разбогатевшим, – ...«пешком с котомочкой, Геннадий Демьянович!». Искреннее соболезнование вызвал Аркашка, переживавший крушения своих надежд на сладкую жизнь.

Эта реплика вошла, как поговорка, в наш спортивный быт. Упустим, казалось бы, верную победу, и, снимая бутсы в раздевалке, когда на сердце кошки скребут, услышишь, как кто то язвительно скажет: «Пешком с котомочкой!»

Помню, как то делаясь своими впечатлениями об этом спектакле с Яншиным, он, не отказывая Всеволоду Эмильевичу в определенных достоинствах, как театральному деятелю, режиссеру, все же с чувством недоумения вопрошал меня: «Ну, при чем тут красный или зеленый лак на голове людей вместо природой вращенных волос? Ильинский – да! Баянисты – да! Но ведь актеры то живые люди, а не муляж в витрине парикмахерской!»...

И так всегда. Яншин открыто высказывал свое мнение об искусстве. Нам не раз приходилось встречаться с Яншиным и в Париже. Там обычно нас приглашал пообедать в ресторане известный художник Серж Поляков. Вместе с ним бывал и его родной брат Владимир – популярный исполнитель цыганских романсов.

Сергей преуспел в жизни больше: держал своих скаковых лошадей в Лоншане. Взмыл он на гребень удачи среди художников во время наступления на салоны абстракционистов. Из исключительного аккомпаниатора на гитаре – играл он действительно виртуозно – Сергей Георгиевич вдруг превратился в самого передового представителя новой школы бессюжетной живописи.

Может быть, автору и чудилась скрытая музыка красок в его картинах, но уха непосвященного она не достигала. Тем не менее художник показывал нам альбом великолепно исполненных цветных литографий с его полотен и горделиво пояснял: «Вот за эту картинку на выставке в Лондоне мне заплатили 1000 фунтов!..»

Картинка представляла неоконтурные геометрические фигуры – полуокружности, полуцилиндры, срезанные конусы, спиральки и что то еще пересекающееся и переплетающееся и в рисунке и в цвете.

Я, скрывая свое непонимание новых течений в современной живописи, деликатно отмалчивался. Присутствующий на обеде Иосиф Моисеевич Раевский как учтивый гость в такт объяснениям хозяина кивал головой. А Михаил Михайлович без обиняков заявил:

– Извините меня, Серж, но я ничего в таком искусстве не понимаю.
– Но, глядя на картинку, вы слышите чтонибудь? – так и загорелся художник, надеясь обратить артиста в новую веру.

– Не только не слышу, но и не вижу ничего, кроме непонятной мази, – чистосердечно сознался Яншин, извинительно улыбаясь и разводя руками.

Ничуть не смутившись, Серж под общий дружный смех снисходительно похлопал именитого артиста по плечу и сочувственно произнес:

– Надо развивать свой художественный вкус, дорогой Михаил Михайлович. Наше искусство для избранных!

Заразительней всех смеялся Яншин, приговаривая:

– Нет уж увольте, батюшка, увольте!..

Зато пел Володя так, что все отлично понимали его искусство. Чудный, бархатного тембра баритон так проникновенно звучал у этого нестареющего 70 летнего русского цыгана – «Хотят ли русские войны», что у Яншина глаза повлажнели. Уж очень хорошо отзывался в душе слушателей этот голос, под аккомпанемент художника, доносивший на смене регистров то гневность обличения, то умиротворяющую мольбу, то широту и благородство русского характера, мастерски передавая всю емкость стихотворения Евгения Евтушенко.

Яншин восхищенно благодарил братьев за «музыкальный подарок». Такой уж он был – Михаил Михайлович. Что нравится, не скрывал, а что претит душе – не молчал: нейтральной позиции не признавал.

В тот памятный вечер первого посещения «Кружка», когда за нашим столом побывала вереница известных театрально художественных деятелей, эта черта Яншина – нелицеприятность суждения заметно обозначалась в течение всего застолья, о чем бы разговор ни происходил. Однако деликатность, воспитанность, с какой он вел беседу, не вызвали чувства обиды у тех, кому, может быть, и не очень нравилась непритязательная откровенность молодого артиста.

Впоследствии я на себе многократно проверил горькие, но безъядные критические пилюли Яншина, полезные потому, что были замешаны на доброжелательности.

Однако все это будет впереди, обозначился только первый шаг сближения в благотворной атмосфере «Кружка» в Старопименовском переулке.

Глава 5

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

Жизнь как веретено: начинается с первого витка нити и наматывается, утолщаясь, до середины, а потом идет на спад и кончается последним витком.

Человеку свойственно ошибаться в житейских соизмерениях. Нить еще только начинает наматываться, а мы уже думаем, что достигли жизненного перевала. А над тобой еще крутизна с отрицательным углом преодоления.

Не избежал таких ошибок и я. В познании футбола во всяком случае, а в вопросах мироздания тем более.

«Человек рожден для счастья, как птица для полета» – эти слова Короленко казались мне исчерпывающими: жизнь – праздник. При этом восприятии действительности как то забывалось, что в житейском календаре на шесть дней будней праздник приходится только один.

А будни выдвигали свои требования, безоговорочно, неумолимо. Неотвратимо надвигались сроки крутой перемены в моей жизни – призыв на действительную воинскую службу. Я уже был игроком сборной команды и по привычке к потачкам всякого рода и в быту, и в учении. Побывал за границей. По тем временам явление не частое. Молодость торопится быть старше, чем она есть. Присваивает себе привилегии без должных оснований. Как говорится, «не по чину берет». И я не уберегся от преувеличений собственной персоны. Свободный доступ в театр, довольно уже широкий круг интересных знакомств, увлечение

конным спортом, посещение увеселительных мест, отрывки недавних нэповских времен влияли на склад моих привычек и настроений.

Служба в армии меня просто пугала. Прощай свободная жизнь, прощай поездки по городам и весям, прощай футбол – так думалось мне и все тоскливее и тревожнее становилось с приближением срока призыва.

Помню, как делился я своими сомнениями с Николаем Денисовым, чемпионом страны по легкой атлетике: возможно ли будет играть в футбол служа в армии? Он проходил службу в Московской пролетарской стрелковой дивизии.

Встречаясь на квартире у молодого тогда художника Федора Антонова с Петром Вильямсом, Александром Дейнекой, Юрием Пименовым, проходившими территориальные сборы при той же дивизии на Ходынском поле, я расспрашивал их про житейское бытие в казармах, плохо скрывая свою пугливую озабоченность.

Они были молодые, веселые люди и шутливо настораживали – хлебнешь, мол, шилом патоки.

Разумеется, я отшучивался, понимая, что они нарочно преувеличивают трудности солдатского быта, но от этого легче не было. Все чаще меня посещали минуты уныния. Ведь вот как странно складывается судьба: как раз к осени у меня, что называется, пошла игра. Что ни матч, то похвальная пресса. А радости нет: все равно, мол, скоро прощай футбол!

Ничего еще я тогда не понимал ни в жизни, ни в футболе. Мне надо было говорить – здравствуй, а я все прощался!

Меня призвали...

«Стой й й й!» – раздается команда на весь плац Спасских казарм у Сухаревской башни, где расквартирован был 2-й стрелковый полк Московской пролетарской стрелковой дивизии.

Это пронзительный голос нашего командира отделения, невзрачного, низкорослого сверхсрочника, службиста, как говорится, до мозга костей. У него по иронии судьбы фамилия Суворов.

Под его непосредственным начальством я, курсант полковой школы, прохожу строевую подготовку. «Направо равняйся! Напра ву!» – отрывисто, с шиком выпаливает он «ву».

Я поворачиваю голову направо, равняюсь, как положено «на грудь четвертого». Но ее нет: есть только вторая, потому что в строю нас только двое – я да Елисеев. Остальные солдаты нашего отделения в наряде – кто на кухне, кто на дневальстве, кто в карауле.

Но Суворов подает голос так, словно командует полком. Замечая наше насмешливое переглядывание, командир, как абсолютно убежденный в своей правоте, говорит: «Я из вас, товарищ курсант Старостин, человека сделаю». Меня бесила уверенность его тона, но я молчал, зная, что малейшее возражение вызовет реплику – «Разговорчики в строю!».

С командиром у меня шла холодная война с момента моего поступления в полковую школу.

– Где ваши личные вещи, товарищ курсант Старостин?

– Вот они, – смущенно отвечаю я под общий смех новобранцев, молодых деревенских ребят из под Курска, Орла, Тамбова, приехавших с деревянными укладками, обязательной принадлежностью призывника.

– Я вас про вещи спрашиваю, товарищ курсант Старостин, – требовательно продолжает Суворов, с презрением взглянув на зубную щетку и кусок нераспечатанного мыла и пасту, которые я вытащил из кармана пиджака.

– Это и есть мои вещи, – надменно парирую я.

Мы смотрим друг на друга, как два боксера перед схваткой. Формально я ни в чем не провинился. Но он видит, что к нему в отделение поступил разгильдяй – даже без укладки.

– В каптерке получите вещевое довольствие, товарищ курсант Старостин, личные вещи... – он запнулся, но так же сухо деловито продолжил: – Оставьте при себе. Койку в дортуаре заправлять, чтоб ни складков, ни морщинов... Все.

Я не удержался и, язвительно улыбаясь, поправил:

– Ни складок, ни морщин...

Командир отделения круто повернулся спиной ко мне и бросил в пространство: «Смешки строит, дерьмо такая!»

Это был первый словесный раунд. Я считал, что провел его с достоинством. Последняя реплика меня больше рассмешила, чем оскорбила.

Соседом моим по койке оказался орловский парень, совсем малограмотный, по фамилии Пиу́ калов. Тихий, с иконописным смуглым лицом, он тосковал по своей невесте «распронаединственной зазнобе», не успев до призыва сыграть свадьбу. «Как ты думаешь, будет ждать ай нет?» – пытал он меня, пребывая в постоянном сомнении относительно ее верности. Ежедневно на утренней поверке с моим соседом возникало недоразумение. Его выкликали, а он молчал. «Пикау́ лов!» – уже рассерженно, уставившись ему в глаза, кричит Суворов и наконец мы слышим все тот же ответ: «Та я ж Пиу́ калов!»

Отделенный сдался. Он увидел, что мой сосед солдат исправный, и стал верно произносить его фамилию. Но он был до глубины души возмущен, когда обнаружил, что Пикалов чистит и свою и мою винтовки. Я за это должен был писать письма «распронаединственной». Жених в категорической форме требовал именно этого обращения к своей невесте. Чтение по вечерам моего творчества доставляло ему истинное наслаждение, мне казалось, даже большее, чем письма от нее, которые я тоже ему читал. В особенности соседа приводила в восторг подпись: «курсант, будущий командир отделения Пикалов». В каждом последующем письме я повышал его в чине, а он, восторженно хлопая меня своей жилистой рукой по плечу и заливаясь хохотом, приговаривал: «Ай, хорошо, ядять тя мухи, комары!»

Отделенный сам стал наблюдать за чисткой. Я научился ловко разбирать и собирать затвор на семь частей, и «зуб отсечки отражателя» перестал мне казаться таинственным существом. Суворов, разумеется, догадывался, что я не лишу исправного солдата Пикалова радости переписки с невестой. Я продолжал писать письма на Орловщину, восхищая невесту и всю ее родню доблестной службой нареченного.

Продолжалась и строевая выучка под неотступным оком Суворова. Тяготы усвоения парадной шагистики, использования малого шансового инструмента при земляных работах, приемы рукопашного, штыкового боя я постигал и делил со своим неизменным напарником, соседом по койке слева Александром Елисеевым. Маленького роста, шустрый паренек, москвич, был удивительно непоседлив и любознателен. Непритязательность в житейских условиях позволяла ему легко приспосабливаться к любой обстановке. Суворов был к нему снисходителен. Было за что: Евсей (так его звали по всей дивизии от перепутанной фамилии Евсеев вместо Елисеева) стрелял лучше меня и будучи вертким, как угорь, вместе с тем сильным, он очень ловко проделывал всю артикуляцию с винтовкой.

– Вперед штыком коли, назад прикладом бей! – зычно подает команду наш приземистый командир. Я стараюсь изо всех сил на выпаде проткнуть штыком мешок, перехватить за ствол винтовку и, развернувшись кругом, бью прикладом по голове соломенное чучело.

Все равно Евсей успевает быстрее закончить всю операцию.

– Товарищ курсант Елисеев – отлично. Товарищ курсант Старостин – мало удовлетворительно.

– Да ты не обижайся на него, – успокаивал меня Евсей. – Это он просто свою линию гнет. Спесь с тебя соскабливает, чемпионскую. – Евсей морщит в улыбке свою мордочку, не знающую бритвы, у него на лице никакой растительности, хотя ему, как и мне, двадцать два.

Евсею смешно, а мне обидно: проиграл одно мгновение, ему – отлично, а мне – мало удовлетворительно. Надо же придумать такую оценку.

Евсей бил меня по всем швам солдатской службы, будь то рытье траншеи, готовность по тревоге или чистка картофеля на кухне – у него кастрюля, а у меня две картошины.

Однако я подтянулся, как мог. К концу первого года службы в моих отношениях с Суворовым наступила оттепель. Увольнительную записку в город я стал получать не по указанию сверху, а по праву отличника боевой подготовки.

Двухгодичный срок службы я заканчивал в 1930 году, будучи причисленным к штабу Московской пролетарской стрелковой дивизии, одновременно исполняя обязанности технического секретаря гарнизонного спортивного комитета. Моим непосредственным начальником стал капитан Георгий Антонович Малаховский. Всегда подтянутый, аккуратно, как с картинки, одетый, глубоко интеллигентный, начальник отдела по физической подготовке, секретарь гарнизонного спортивного комитета Малаховский пользовался всеобщей симпатией в военных кругах всех рангов.

Я был игроком сборной команды СССР, и он много сделал, чтобы я не потерял возможности продолжать играть за свой клуб на первенство Москвы. Меня никто не понуждал играть за ЦДКА. Когда армейская команда комплектовалась из футболистов, желавших защищать ее цвета по доброй воле. Она была достаточно популярной, с устоявшимися традициями, и в этот коллектив стремились попасть самые квалифицированные игроки.

За команды же Московского гарнизона во всеармейских соревнованиях все спортсмены, отбывающие действительную службу, играли безотказно и в футбол и в хоккей. Здесь я у Евсея брал реванш: оценку «мало удовлетворительно» – я выводил ему.

Помню, осенью, накануне демобилизации, я в последний раз играл за команду Московского гарнизона. Противником, кажется, была команда Белорусского военного округа. Со всем пылом солдатской самоотдачи я сражался на футбольном поле за спортивную честь своей дивизии. Поле плотным кольцом окружили военнослужащие всех чинов и рангов. Летний лагерный сбор частей Московского гарнизона размещался тогда в районе теперешнего «Сокола». Тогда здесь располагалось село Всесвятское, считавшееся далеким загородным местом. Я жил у Белорусского вокзала, и когда отправлялся по увольнительной домой, то говорил – «поехал в Москву».

В состав лагерного сбора входили подразделения самых разнообразных родов войск Красной Армии: пехотинцы, кавалеристы, танкисты, артиллеристы, связисты, вплоть до ОДОН – отдельной дивизии особого назначения. Футбол проник всюду и везде стирал в ходе спортивной борьбы всякие грани субординации – и среди участвующих, и среди зрителей.

Запомнился этот чудный предзакатный вечер позднего лета. Футбольное поле, окруженное зеленым массивом еще не исхоженного горожанином леса, теплое безветрие, благорасположение самого благодарного зрителя – бойцы, командиры и политработники, плотным кольцом опоясавшие поле сражения, – все это создавало обстановку, когда говорят «жить хочется».

В перерыве, отдыхая тут же на полянке, вижу среди зрителей Суворова. Лицо возбужденное, носик пуговкой вздернут. Что то, подобравшись в плечах, сказал комдиву и, круто развернувшись, направился в нашу сторону. Мне так и представилось, как он сейчас заголосит: «Смирно, товарищ курсант Старостин!» Однако, прокосолопя своей обычной походкой небольшую лужайку, мой бывший командир отделения никакой громогласной команды не подал, а, добродушно улыбаясь, произнес, протягивая мне руку, самое гражданское приветствие: «Здорово, Старостин!»

Но я уже вскочил и, как был в трусах, замер по стойке «смирно», громко отчеканив: «Здравия желаю, товарищ командир отделения!»

Футболистов развеселила моя сверхдисциплинированность, они смеялись: вот, мол, как вышколили солдата. Но никто из них не знал Суворова и какую выучку под его командой прошел я в первый год службы.

Сейчас на нем уже петлицы командира взвода, по одному зеленому кубiku в каждой. А еще будучи помкомвзвода, Суворов водил нас на соревнования по маршевым переходам с полной армейской выкладкой. Это изнурительнейший экзамен физической выносливости на дистанции 30 километров. По пути надо было преодолевать самые разнообразные

препятствия, где сила и ловкость играли решающее значение. Наш командир бывал неутомим. Перед каждым незнакомым барьером, вроде зеленой баррикады на лесной просеке из свежеповаленных деревьев, сучьев, хвороста, он недоуменно восклицал: «Це шо за фокус!» – и кидался на штурм огромного завала, помогая изнемогающим от усталости бойцам преодолевать препятствие, добавляя нам силы примером неукротимости своего духа – подумать только, сам с ноготок!

Помню, последним препятствием была двухметровая гладкая дощатая стена. Я подошел к ней в арьергарде – «только бы не быть последним» (зачет по последнему). Крайне уставший, с выступившей от пота солью на гимнастерке, начал штурм высокого деревянного барьера, безуспешно. Пытаясь вскарабкаться на гребень ненавистой стены, я раз за разом срывался вниз.

Бессильно злясь на свою беспомощность, я вновь ринулся на проклятую стену, когда подошли отставшие в сопровождении Суворова. Он метался от головной группы к хвосту, подтягивая последнего. Мне удалось закинуть ногу поверх стены, но вещевой мешок и винтовка тянули меня обратно, к земле. В критический момент, когда последний солдат оседлал гребень, а я беспомощно висел над бездной (морального!) падения, сползая вниз с завоеванной высоты, пришла помощь. Это Суворов подхватил мою левую ногу и резким толчком вверх перевалил мое тело вместе со всей амуницией через гребень стены. Уже падая с другой стороны, я услышал излюбленную присказку помкомвзвода: «дерьмо такая»!..

Тогда на подмосковной полянке в перерыве между таймами я глядел на Суворова, как смотрят на человека, которому ты чем то обязан, но еще не понимаешь чем, а лишь чувствуешь признательность и выражаешь взглядом свое дружелюбие.

Демобилизуясь из армии, я сравнил свои антропометрические показатели с прежними. За два года службы мой рост повысился на четыре сантиметра, а объем грудной клетки увеличился на восемь сантиметров. Это сделал мой первый тренер Суворов – командир отделения полковой школы 2 го стрелкового полка Московской пролетарской стрелковой дивизии.

В это время как раз комплектовалась сборная команда СССР для поездки в Скандинавию. В те времена выезды за границу были не частыми для спортсменов. И когда я прослышал, что моя кандидатура в числе обсуждаемых, то потерял покой. В молодости сутки значительно длиннее по времени, нежели в пожилом возрасте. К финишу жизни часы, дни, недели летят с калейдоскопической быстротой. Тогда же мне казалось, что время остановилось. Желание попасть в сборную команду и поехать вместе с корифеями футбола за рубеж представлялось и несбыточной мечтой и вместе с тем такой реальной возможностью. Хотелось скорее узнать – быть или не быть.

Я уже работал директором фабрики «Спорт и туризм» и, сидя в своем фанерном кабинете (в те времена фанерные застекленные клетушки – обычный интерьер служебных помещений), в каждом телефонном звонке предполагал вызов в ВСФК – Высший совет физической культуры, так назывался тогда верховный орган, руководивший физическим воспитанием трудящихся и спортом в стране. Но с разочарованием слышал в телефонной трубке: «Фонды на кожу утвердили», «Сыромятную сшивку отгрузили», «Подошвенного полувала нет»... Мне мерещились норвежские фиорды, а тут тебе кожа на подошвы.

И все же вызов последовал. Я уехал за рубеж в «одной компании» с прославленными футболистами старшего поколения – Михаилом Бутусовым, Петром Григорьевым, Александром Штраубом.

О своих впечатлениях от посещения Скандинавии я уже писал в первой книге «Большой футбол». Сейчас лишь хочется сказать, что для меня эта поездка явилась переломным моментом. Я перешел какой то невидимый психологический барьер в своем футбольном самоутверждении. Позволительно назвать это сдачей экзамена на аттестат футбольной зрелости. Самомнение несовершеннолетнего футболиста, считающего себя после первого успеха постигшим все, осталось позади. «Чемпионская спесь», которую по удачному выражению Евсея с меня соскабливал командир отделения Суворов, обернулась

познанием элементарной спортивной истины, которая сформулирована философом много веков назад: «Я знаю только то, что я ничего не знаю».

В Швеции, наблюдая матч финал национального Кубка между сильнейшими клубами «Шлейпнер» – «АПК», я увидел футбол в более зрелом тактическом и техническом выражении. Использование всей площади поля, широкоформатная расстановка игроков – их тактика; быстрая обработка мяча и без задержки пас – их техника: это фундамент шведского футбола того времени. Но мы были быстрее шведов в движении. Я был убежден в этом своей игровой практикой. Про меня, как и про многих игроков моего поколения, говорили: «у него два мотора».

Бочки пота приходилось проливать за тренировочный день, если ты не хотел отстать от общего развития спорта и футбола в частности. Еще в то время я практиковал утренние кроссы перед отъездом с дачи на работу. С футбольным мячом в ногах бежал в лес, в течение часа разным темпом на бегу закладывал финты между деревьями. Пота из майки после такого кросса можно было выжать бочку – не бочку, а ведро вполне.

Одним словом, после этой поездки окалина самомнения под ударами молотка, название которому опыт, с моего футбольного стержня в значительной мере отвалилась.

Но не совсем. Именно оттуда я приволок остроплечий пиджак, так смутивший Яншина, и прическу «бокс» – полную противоположность сегодняшнему мужскому длинноволосию.

Мои отношения с Михаилом Михайловичем Яншиным становились все теснее. Круг наших интересов расширялся. Я уже упоминал про удивительную любознательность натуры Яншина. Ему хотелось знать все и про все. Среди его привязанностей не последнее место занимало цыганское искусство. Ему понятны были фольклорные истоки и заунывно минорных и страстно мажорных проявлений народного характера как в танцах, так и в песнях.

– Оригинальная песенка таборных цыган! – объявит, бывало, со сцены маститый дирижер хора из московского цыганского клана Егор Алексеевич Поляков. Одетый в национальный бархатный кунтуш, с разводами пурпурно синего соцветия, ударит Егор звучно по струнам вступительный аккорд, подхватят гитаристы виртуозы, тогда еще совсем молодые Иван Ром Лебедев и Валериан Поляков мотив цыганской полевой песни «Шэлмэ вэрсты», вступит хор, в разноголосье которого высоковысоко, по самым верхним этажам мелодии слышится цыганская колоратура Дуни Орловой, а внизу басовито выводит грустную ноту таборных невзгод: «ни, кай пара пэскэ на латём...» контраalto знаменитой Александры Александровны Добровольской. Сидит Яншин с увлеченной улыбкой, покачивая в такт хору головой, и внимательно слушает, как то зальется, то замрет управляемый опытным дирижером ансамбль, действительно народной цыганской песни и пляски, не растерявший в кабинетах «Яра» или «Стрельны» своей самобытности.

Ко времени подоспела чья то идея – организовать цыганский театр. Однако всеобщей поддержки она не нашла. Наоборот, на совещании по текущим вопросам театральной жизни в Доме работников искусств, тогда находившемся на Большой Никитской улице (ныне ул. Герцена, Клуб медицинских работников), при обсуждении этого предложения, внесенного старейшиной дирижеров московских цыган Николаем Степановичем Лебедевым, резко выступил против организации театра представитель Рабиса. Не помню его фамилии. Он недоумевал – цыгане и театр? Несовместимые, мол, понятия: цыгане – это ресторан, кабаре, пивной бар. Яншин негодовал: а где же Пушкин, где Толстой? Сидевший рядом с нами Иван Рахилло возмущенно вторил: а где же, наконец, Есенин? Златокудрый, атлетически сложенный, летчик, писатель, художник, прекрасный пловец – «на моем счету шестнадцать спасенных утопающих в море», – разносторонне одаренный человек, друг Сергея Есенина, в последующем Валерия Чкалова, обладал, как он сам про себя говорил, резко континентальным характером. Он был нетерпим к начетничеству в любом проявлении.

Рахилло требовательно попросил слова и, выйдя на трибуну, напомнил и о Пушкине, и о Толстом, и о Есенине, доказывая необходимость возрождения цыганского искусства в чистой атмосфере театральной сцены.

Прослезившийся ветеран цыганского клана Николай Степанович благодарно жал руку раскрасневшемуся от своего патетического выступления Рахилло. А Михаил Михайлович, как бы предрешая результат, сказал: «Ну что же, Иван Спиридонович, придется, видно, нам объединить усилия: театр то будет нуждаться в помощи».

А вскоре мы сидели на первой премьере цыганского театра «Ромэн», разместившегося на углу Большой Дмитровки и Страстной площади, в клубе имени П. Стучки. Давали «Жизнь на колесах». Раскованно, без тени смущения передвигались по сцене, вели диалог новоявленные артисты. Конечно, все это было далеко от зрелого актерского мастерства, но артистическая природа, присущая национальному характеру, обещала театру плодотворную творческую жизнь.

Яншин с увлечением взялся помогать театру, согласившись принять должность художественного руководителя.

В футбольных кругах того времени часто перекидывали мостики сопоставлений тренерской работы с деятельностью режиссера. Творческие, мол, коллективы и принципы воспитания спортсмена и актера должны быть сходны. Я, всегда разделявший мнение о родственности творческих поисков в спорте и искусстве, живо был заинтересован работой Яншина с актером. Повседневно общаясь с ним, я много слышал от него о режиссерской деятельности Константина Сергеевича Станиславского.

Мне посчастливилось видеть на сцене несравненную игру Станиславского в ролях Крутицкого в пьесе Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Оловянные глаза, мослаковатые руки, глухие звуки – «тру ру бум бум» – из замшелого зева сановного старца, свернутый в трубочку трактат – вспомните Козьму Пруtkова с его «введением единомыслия в России», – и перед зрителем возникала фигура генерала Дитяткина из рассказов И. Ф. Горбунова. Но фигура еще действенная, может и возвеличить, и стереть в порошок, несмотря на физическую немощь.

Или Станиславский в роли Любина в пьесе И. С. Тургенева «Провинциалка», где реплику под занавес – «Провинциалка» – артист произносил так, что в ней слышалась гамма оттенков, отображавших всю суть пьесы и характер героини. Позволительно сказать, зритель прослушивал музыкальный заключительный аккорд, выраженный в одном слове.

Видел я Сатина и Дорна в исполнении Константина Сергеевича и часто слышал от Яншина восторженные отзывы об актерском мастерстве своего великого учителя. Но чаще разговоры как при жизни, так и после кончины Станиславского Михаил Михайлович вел о его режиссерской деятельности. Ученик свято верил своему наставнику и восхищался его духовной возвышенностью, жертвенностью во имя любимого искусства, честного и правдивого, требующего беззаветной преданности избранному делу. Сколько помню бесед и споров с Яншиным на футбольную тему, столько же помню примеров из режиссерской практики Станиславского.

Разумеется, я не мог рассчитывать на посещение репетиций под руководством Станиславского в Художественном театре. Его боялись сами артисты младшего поколения. Маститый режиссер был такой глыбой в искусстве, что непосредственное общение с ним не представлялось реальным.

Но вот когда Яншин стал художественным руководителем театра «Ромэн», я возликовал, потому что был убежден – все будет по Станиславскому, конечно же, с яншинской интерпретацией. Ученик, как и учитель, голого подражательства не терпел.

– У каждого человека своя душа, и если он хочет сохранить личность, то не должен втискивать эту душу в приготовленные опоки. Формы готовит сам исполнитель, педагог только помогает ему не уходить от правды жизни и изливать свою душу в создаваемый сценический образ, – примерно так говорил Яншин о творческом содружестве режиссера и актера.

– И в футболе так же должно быть, – вторил я Яншину.

В последующем я все больше убеждался, что только именно такое взаимоуважение педагога и воспитанника может дать плодотворный результат.

А пока я с интересом наблюдал, с какой требовательностью и бережностью к личности артиста вел репетиции с молодой труппой цыганского театра Яншин. К тому времени «Ромэн» получил помещение, до революции занимаемое театром «Летучая мышь» в Большом Гнездиновском переулке.

Маленькая сцена не помешала Яншину широко развернуть свой режиссерский талант.

Требовательный вкус артиста режиссера подсказал ему и выбор репертуара. Известный поэт и драматург Испании Гарсиа Лорка, расстрелянный франкистскими фашистами, был любимым автором Яншина. Его пьесы «Кровавая свадьба» и «Чудесная башмачница» были поставлены в театре «Ромэн».

Суровый образ матери, гордой и непримиримой в борьбе за честь семьи и устои народного быта, создала Мария Васильевна Скворцова, ставшая первой заслуженной артисткой РСФСР в труппе театра.

Незабываемый образ Сапатэры, пленительный по своей непосредственности, несколько вздорной, но гордой жены сапожника, создала Ляля Черная, ныне тоже заслуженная артистка РСФСР.

Вижу на этих премьерах сидящего рядом со мной Михаила Михайловича Яншина, затирающего платком слезы умиления после окончания спектакля. Он радовался успеху без ложного стыда. Потому что это была радость художника, труд которого не пропал даром, – возник творческий ансамбль, тем более благоприятно принятый зрителями, что артисты то были профессионально совсем молодые.

Позднее я переживал нечто подобное и вспоминал Яншина, когда работал тренером с командой заполярного Норильска, не имевшей никакого опыта междугородних встреч, и нам удалось всем на удивление выиграть Кубок Красноярского края.

В восторге лучших чувств, поздравляя ребят, я к их недоумению приговаривал: «Сапатэра, Сапатэра, ты себя не осрамила!»

Ребята заинтересовались, что это за Сапатэра, футбольная команда, что ли? Я объяснил. Дело в том, что в «Чудесной башмачнице» многократно звучал рефрен: «Сапатэра, Сапатэра, как себя ты осрамила!» Мы с Яншиным частенько им пользовались, делись разными впечатлениями. Сыграю я хорошо в очередном матче, он мне – «ты себя не осрамила!». Если плохо – «осрамила!». Я ему говорил то же и так и этак.

И пошел гулять по норильскому футболу и хоккею призывный клич «Сапатэра!». Мчатся форварды в атаку, и вдруг прокричит кто то на весь стадион непонятное слово. «Что это они кричат?» – спросят меня местные любители спорта. Я поясню – не посраим, мол, Заполярья.

Мы были разделены в это время многими тысячами километров пути, но незримые нити единства во взглядах на любимое дело связывали нас нерасторжимо. От маленькой сцены в Большом Гнездиновском переулке до завьюженного пургой заполярного Норильска пропутешествовало это слово, став символом жизнеутверждающего ялтинского оптимизма!..

Вскоре последовала замечательная пьеса известного драматурга Исихора Штока «Грушенька» по мотивам повести Н. С. Лескова «Очарованный странник», затем инсценировка «Цыгане» по Пушкину, «Макар Чудра» по Горькому в постановке П. Лесли. Хлопот художественному руководителю театра, как говорится, был полон рот. Но Яншин не жалел ни сил, ни времени. Я удивлялся: «Михмх, как вас на все хватает?» А он, на ходу доедая бутерброд из буфета у «Бороды» и легкой скользящей походкой направляясь к выходу, отвечает: «Была бы охота!»

Талант Яншина был значительно шире и глубже, нежели признание его в широких театральных кругах. Спустя несколько лет после премьеры «Дни Турбиных» он раздражался: «Ах, Лариосик, ах, Лариосик! Я уже несколько ролей после этого сыграл, а только и слышишь, что о племяннике из Житомира».

Да и действительно, первое впечатление от роли Лариосика – впечатление пожизненное, как от Чапаева в исполнении Бабочкина, как от царя Федора – Москвина.

Личность актера отразилась в образе, как его вторая натура. Этот образ трудно вытеснить из памяти зрителя. Надо обладать огромным творческим даром, чтобы на уровень канонизированного Лариосика перед зрителем встал другой сценический образ, способный делить с ним наравне и даже выше признание зрительного зала.

Яншин сумел в своей последующей артистической карьере уйти от Лариосика по восходящей. Говоря языком спорта, он многократно побивал свои творческие рекорды. Сэр Питер в «Школе злословия», Градобоев в «Горячем сердце», Маргаритов в «Поздней любви», Кузовкин в «Нахлебнике» – роли, сыгранные Яншиным, не нуждаются в моих комментариях. О них театроведы написали своевременно и справедливо. Они относятся к золотому фонду театрального искусства.

Но до них был Бутон. Персонаж из пьесы Михаила Афанасьевича Булгакова, поставленной в Художественном театре в середине тридцатых годов.

Роль Бутон играл Яншин. Резонер, пройдоха, гаситель свечей и доверенный слуга великого многострадального актера, драматурга и антрепренера, пользующегося покровительством «короля солнца», Людовика XIV, и гонимого церковью, Мольера, – Бутон был вторым открытием яншинского актерского дара.

Когда в страхе Бутон вынужденно, в свое спасение «патриотически» кричал: «Да здравствует король!» – зрители бурными аплодисментами и громким смехом сопровождали эту реплику, настолько точно передавал артист гамму психологических переживаний испуганного прохиндея.

Спектакль был принят, что называется на «ура». Я побывал и «на папе и на маме», и на генеральной репетиции, и на премьере.

Изысканным, величественным, самовлюбленным «королем солнцем» выглядел М. А. Болдуман в роли Людовика XIV, как бы подчеркивая своим видом историческое изречение этого короля: «Ле та се муа!»

Пронизывающе страдальческой, но все же воинствующей фигурой, не согнувшейся в неравной борьбе со святошами, а павшей под ударами своих страстей, встал в пьесе Мольер, сыгранный Виктором Александровичем Станицыным.

Как и в «Турбинах», плохих ролей или исполнителей в спектакле не было. Многократно раздвигался занавес, и исполнители, взявшись за руки, подходили к авансцене и низко кланялись, и так же, стоя, приветствовала артистов публика.

Я, не жалея ладоней, аплодировал Бутону. По счастливой улыбке было видно, что артист радуется. Улыбка Яншина была обезоруживающе счастливой – его лицо сияло!

В артистической уборной Михаила Михайловича я застал лощеного Михаила Афанасьевича Булгакова, прячущего радостную взволнованность успехом под внешней сдержанностью.

– Я надеюсь, мы сегодня поужинаем в «Кружке»? – обратился к нам Михаил Афанасьевич. Это была дань вежливости воспитанного человека в мой адрес. Участники спектакля заранее были приглашены. Я не смог противиться соблазну.

За банкетным столом запомнился Юрий Михайлович Юрьев. Маститый могижан театра не переставал восхищаться ролью Мольера. Среди общих поздравлений он неоднократно высказывал твердое намерение сыграть Мольера, считая эту постановку в «Александринке» делом предрежденным.

Говорили много в самых доброжелательных тонах. Прочили пьесе повсеместный горячий прием. Как всегда, тонко и умно определил суть ее успеха Павел Александрович Марков. Благодарно в адрес автора что то сказали Яншин, Станицын и другие участники спектакля. Дело дошло даже до меня: я за столом был единственным «от публики». В припадке зрительского восторга я неуклюже перехватил: сравнил «Мольера» Булгакова с «Отелло» Шекспира, только что поставленного в Малом театре, в пользу первого. Маленькая правдоподобная лесть воспринимается лучше, чем самая маленькая правдоподобная критика, но на лице автора читалось что то похожее на – «ну, уж это чересчур».

Все были довольны за Булгакова. Он много пережил и долго ждал, пока была поставлена на сцене пьеса «Дни Турбиных». Продолжал ждать своего сценического воплощения и «Бег». И вот теперь «Мольер» открывал новую страницу в летописи театральной драматургии с фамилией Булгакова.

На том и разошлись ранним утренним часом в самом радужном настроении.

Но я рано поздравлял Яншина с большой творческой победой. Ее, говоря футбольным языком, не засчитали: через несколько дней спектакль «Мольер» решением какой то комиссии был снят с репертуара. Постичь причину неудачной судьбы, на наш взгляд, великолепной пьесы мы с Яншиным не смогли.

Глава 6

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ТРИДЦАТЫЕ

...Наша команда многократно меняла названия. Они возникали в зависимости от производственного профиля шефствующего коллектива: «Пищевики», «Мукомолы», «Дукат», «Промкооперация».

В то время существовало лишь одно добровольно спортивное общество «Динамо». Оно объединяло в своих рядах работников НКВД и милиции. Динамовцы с первых дней своего существования зашагали крупными шагами по пути спортивных успехов. Первым председателем и одним из инициаторов создания общества был Феликс Эдмундович Дзержинский.

Нашей команде много внимания уделял комсомол. В этом ничего удивительного не было. Ведь на Пресне, где возник прародитель сегодняшнего «Спартака», коллектив МКС, он организовался по инициативе футболистов, проживающих в этом районе, и при непосредственном участии райкома комсомола.

Руководители молодежи тридцатых годов, секретари ЦК ВЛКСМ – Дмитрий Лукьянов, признанный комсомольский оратор, Сергей Салтанов, Павел Горшенин – были нередкими гостями в нашей команде. Однако идею создания добровольно спортивного общества по примеру «Динамо» подал нам Александр Васильевич Косарев.

Какой это был необычайно притягательный человек! В борьбе за справедливую жизнь и народную правду Косарев, паренек из бедной рабочей семьи московской окраины, прошел большой и нелегкий путь от подсобного рабочего на дореволюционном заводе до всеми признанного вожака молодежи.

Мне многократно приходилось встречаться с Александром Васильевичем, когда он уже был секретарем Центрального Комитета ВЛКСМ. Случалось это и на официальных приемах, когда он был одет «по протоколу» – в отличном гражданском костюме, в белой рубашке с галстуком. Как бы приняла в штыки такой его наряд комсомолия времен гражданской войны. Но время бежало стремительно, в ногу с ним менялись и нормы быта. Появлялся он вдруг на квартире и у Николая, и у меня, благо, мы жили с братом в одном подъезде, в более повседневном костюме, без «гаврилки». Однако, как бы он ни был одет, он всегда мне вспоминался по первой встрече – лукавая искорка в глазах, чуть приподнятая правая бровь и непокорный петушок на затылке.

Сам характер встреч говорил о простоте Александра Васильевича. Наверное, эта искренность, душевная чистота и была той неотразимой силой, которая так влекла молодежь к Косареву.

Так, одна из встреч состоялась на углу Сандуновских бань. Прямо тут же у входа в переулке. Я был предупрежден Николаем, что Александр Васильевич может прийти попариться в Сандуны, наслышанный, мол, о твоих рекордах на полке.

Еще дедом в Погосте я был приучен париться на соломе в русской печке. Я на самом деле сильно парился. С татарами, завзятыми любителями парной, выдерживал соревнование. Однажды схватился в парилке с сухоньким старичком. Худой такой, словно дезертир с кладбища. Никак не хотелось ему уступать. А он знай себе лежит, закрыв глаза, на лавке и на

меня даже не взглянет. После последней поддачи из меня весь дух вышел – еле выбрался из парной. Переживал поражение, как у калитки доктору Седову. Тем более что мое соревнование началось на глазах у ребят. Только я им в раздевалке признался, проиграл вот, как слышу шум какой то. Смотрю – несут моего конкурента. Оказывается, он на полке то без сознания лежал, пока я его из парилки выкуривал. Еле отходили старичка. Да и сам то я еле очухался. В футбольных кругах тогда много по этому поводу смеялись. Вот этот случай и рассказал Николай Александру Васильевичу, пригласив в баню попариться с футболистами.

Смотрю, подходит Николай, а рядом с ним среднего роста, ладно сбитый молодой человек. В кепочке, в белой апашке с расстегнутым воротом и в летних парусиновых туфлях. «Вместо Косарева какого то новичка футболиста Николай привел», – подумалось мне.

Заметив мою кислую физиономию, Николай неодобрительно спросил: «Не узнал, что ли, Александра Васильевича?»

Я почувствовал, что краснею, нелепо засуетился, что то забормотал, извиняясь, а Косарев, протянув руку, так по доброму улыбался, что у меня все смущение прошло.

Мы отменно попарились. А одеваясь, Александр Васильевич напомнил о том, что ждет предложений по организации нового общества и его названию.

Я уже писал, как оно родилось, это название, в своей книге «Большой футбол». Здесь лишь напомним, что после длительных споров и бесконечного количества предложений судьбу названия решила книга Джованьоли «Спартак», к месту попавшая на глаза Николаю, когда инициативная группа футболистов собралась у него на квартире для обсуждения этого вопроса.

– Нам нужен девиз, отображающий лучшие качества личности атлета: мужество, волю к победе, стойкость в борьбе, ловкость и силу, верность идее. Вождь римских гладиаторов имел все эти достоинства. Предлагаю назвать общество «Спартак»! – сказал Николай, подняв книгу вверх.

Всем понравилось. На том и порешили.

Вместе с новым названием, нашедшим безоговорочное одобрение Косарева, «Спартак» получил загородную спортивную базу – Тарасовку, безотказно служащую команде и по сие время.

Много пережила футбольных передрыг, и радостных и печальных, деревянная двухэтажная гостиница и газонное футбольное поле за сорок лет служения спартаковскому футболу. Да не только спартаковскому и не только футболу. Здесь на опилковых дорожках показывали пример спортивного трудолюбия братья Серафим и Георгий Знаменские; здесь проводили тренировочные сборы боксеры во главе с Николаем Королевым и Ираном Ганыкиным; здесь закаляли и моральную и мышечную мускулатуру Иван Аниканов, Семен Бойченко, Николай Дурнев; здесь совершенствовали мастерство Игорь Нетто, Сергей Сальников, Алексей Парамонов; здесь же готовились к предстоящим схваткам игроки сборной страны – и Григорий Федотов, и Лев Яшин, и Эдуард Стрельцов.

Самым бурным событием в истории существования спартаковской базы было пребывание у нас басков. Впрочем, что я говорю? Не только для Тарасовки, для всего спортивного мира это было крупнейшее событие. Веха, обозначающая крутой поворот в развитии нашего футбола. Скажу больше, в те тридцатые годы, когда мы едва поспевали отмечать дерзновенные свершения наших героев земли и неба – Стахановых и Кривоносовых, Чкаловых и Громовых, когда и жизнь была хороша и жить было хорошо, – приезд басков на фоне всего этого выходил из ряда только спортивных событий. Баски привлекли к себе широкое народное внимание, взбудоражили интерес представителей всех слоев населения.

Гордые, непримиримые духом баски у себя на родине в это время сражались за свою независимость с фашистами генерала Франко. Лозунг «Но пасаран!» – «Они не пройдут!» – знали у нас все – от мальчишки до старика.

Сборную команду басков гражданская война застала, когда эти прославленные футболисты гастролировали по Европе. Кто то из них уже успел скрестить шпагу с

фашистами. Но путь к родным пенатам перерезали фашисты. И когда стало известно, что баски после победного турне по Франции, Чехословакии и Польше придут к нам, любители футбола потеряли покой.

Было известно, что испанский футбол являлся лучшим образцом стиля, называемого на Западе «латинским». Сочетание индивидуального творчества с коллективными действиями придавали испанскому футболу, по выражению некоторых специалистов, «волшебную прелесть».

В активе испанского футбола были записаны победы над сборными командами Австрии, Италии, Франции, Чехословакии, Венгрии, Швеции, Германии. Особой строчкой значилась «победа века», когда испанская сборная впервые одержала верх над непобедимыми до того англичанами. Это было в 1929 году.

Добавьте сюда, что только неправомерное судейство лишило испанцев победы над хозяевами поля, итальянцами, в полуфинальном матче мирового чемпионата 1934 года и что четыре баска – Луис Регейро, Исидро Лангара, Энрико Силлаурен и Заморра входили в символическую сборную команду мира профессионального футбола. В те времена слово «профессионал» звучало для любителей футбола как своего рода жупел. Вот какие мастера кожаного мяча ехали к нам в гости!

И они приехали. Вот они идут по перрону Белорусского вокзала. Уверенной, чуть развинченной походкой ковбоев, знающих себе цену. Идут как бывалые, поездившие по миру парни, себя показавшие и других посмотревшие. Не глазают по сторонам, как новобранцы туристической группы, а присматриваются привычным глазом к незнакомой толпе встречающих. Толпа огромная, на всю привокзальную площадь. Истины ради оговоримся, что в то время она была значительно меньше. На месте памятника Горькому стояли дома. А рядом была трамвайная станция, тоже занимавшая изрядное место на площади.

Интерес к приезду басков определялся количеством заявок, поступивших в дирекцию стадиона «Динамо». Желających попасть на первую встречу с «Локомотивом» оказалось два миллиона человек.

Баски не уронили своего престижа. Более того, они покорили нашего зрителя. Когда я в своей памяти перебираю высшие эмоциональные переживания, которые я когда либо испытал, наблюдая футбол, то зримо вижу перед собой игру басков на стадионе «Динамо» в июне 1937 года. Подобное же восхищение я испытал еще только один раз, когда увидел сборную Бразилии на Шведском чемпионате мира в 1958 году.

Это матчи спектакли. Именно такое мастерство, артистизм исполнения позволяет употреблять слово «искусство» применительно к футболу.

Михаил Михайлович Яншин, сидя рядом со мной на трибуне стадиона «Динамо», утирал носовым платком слезы умиления и повторял: «Какой спектакль, какой спектакль!» – когда испанские футболисты с присущей им элегантностью забивали мяч за мячом в ворота железнодорожников.

Матч закончился победой гостей со счетом пять один. Я уходил со стадиона с двойственным чувством. С одной стороны, мастерство басков не могло не вызвать восхищения. С другой – я уже не в первый раз получил предметный урок, свидетельствующий о моем отставании по разделу футболознания. Мне в это время шел тридцать первый год. У меня уже был опыт встреч на профессиональном уровне. Я успел посмотреть выдающихся профессионалов – Планичку, Свободу, Пуча в Чехословакии, финалистов мирового чемпионата 1934 года в Италии, сильнейших профессиональных игроков Европы австрийцев Хидена, Жордана, француза Дельфура, югослава Живковича, англичанина Кеннеди и многих других и даже сыграть против профессионалов в памятных матчах 1934 года в Чехословакии и в 1936 году во Франции, соответственно против «Жиденице» и «Рэсинга». Я уже имел звание чемпиона СССР, как раз присвоенное мне в 1936 году, за первое место в осеннем чемпионате страны. Я был убежден, что все видел и все знаю, что касается большого футбола.

И вдруг такое откровение. Оказалось, что я еще многого, если не сказать больше, в футболе не постиг. Я испытывал внутреннюю неловкость, когда на другой день Юрий Карлович Олеша расспрашивал меня о басках в кафе «Националь». Чтобы было понятно мое состояние, я должен сделать отступление, упомянув о Юрии Карловиче Олеше.

Об этом писателе я знал еще в самые молодые свои футбольные годы. Правда, тогда мне и в голову не приходило, что судьба меня с ним сведет на долгие времена для тесного дружелюбного общения.

Первое знакомство с творчеством Олеси удивило и взволновало меня. Я прочитал «Зависть». Привлекала необычная поэтическая приподнятость олешинской прозы, образность мышления, метафоричность литературного стиля писателя. Непохожесть на кого либо другого.

...Том Вирлири,
Том с котомкой,
Том Вирлири молодой!..

Поэтическое восприятие колокольного звона преломилось у художника в образ юноши с котомкой за спиной. Утренний туман только рассеивается. Том Вирлири, пишет автор, улыбаясь и прижимая руку к сердцу, смотрит на город. Это клятвенная присяга. Он сделает все. «Он – это само высокомерие юности, сама затаенность гордых мечтаний»...

Пройдут дни, продолжается в повести, и скоро мальчики, сами мечтающие о том, чтобы также с котомкой за плечами пройти в майское утро по предместьям города, по предместьям славы, будут распевать песенку о человеке, который сделал то, что хотел сделать, Томе Вирлири!

И я был мальчиком, распевавшим эту песенку. И все мои сверстники ее в душе распевали, гоняясь за футбольным мячом и ощущая себя в предместьях славы и стремясь к ней всей своей неумемной юношеской душой.

«Затаенность гордых мечтаний» – вот струнка, которую автор задел в душе юных спортсменов совсем еще молодой Советской республики.

Он был первым писателем – и гордился этим, – который ввел в художественную литературу футбольную тему.

Сближение с Юрием Карловичем происходило постепенно. И в этом было какое то предопределение. Как то я наблюдал за ним целый вечер, но не знал, что это Олеша. Вот как это было. В ресторане «Метрополь», устав от застольного спора о футболе, в котором никто, как обычно, никому ничего не мог доказать, несмотря на то что все спорящие – Федор Селин, Константин Блинков, Валентин Прокофьев – в футболе далеко не новички, я заинтересовался сидевшей неподалеку компанией, тоже из четырех человек. Среди них один привлекал особое внимание своей внешностью. Его голова просилась на медаль. Широкий лоб мыслителя, крупные черты лица, с большим, чуть расширяющимся книзу носом, тяжелый подбородок и густая шапка каштановых волос придавали всему его облику породистую респектабельность. Впечатление незаурядности личности усиливалось от его совершенно раскованной манеры держаться в обществе, в особенности когда в оживленной компании вдруг раздавался взрыв развеселого хохота.

Заразительней всех смеялся именно этот человек с небрежной прической на своей скульптурной голове.

«Ха ха ха! Ха ха ха!..» – отчетливо разделяя каждый слог, искренним и громким смехом отвечал он на какую то, видимо, очень комическую историю, что в очередь рассказывали то сидящий от него слева человек с мясистым лицом и пухлыми губами, с густой шевелюрой рано поседевших волос, то сидящий справа млажавый человек, одетый в элегантный пиджак с модными по тем временам острыми плечами (я еще подумал – «вроде моих»), то размещавшийся напротив брюнет с надменно ироническим выражением на лице.

Откуда я мог предполагать, что это был Юрий Карлович Олеша, сидевший в компании с Львом Никулиным, Валентином Стеничем и Валентином Катаевым. Они были молоды тогда. Непринужденное веселье за их столом вызывало зависть. Я с любопытством наблюдал за жизнерадостной четверкой, как будто предчувствуя, что в недалеком будущем не раз разделю с ними компанию за столом, а с одним из них завяжу прочный узел тесного многолетнего общения.

К их столу подошла высокая, статная барменша с подносом, уставленным ликерами и фруктами. Она была красива. Ее золотистая коса была уложена вокруг головы короной. Этот венец еще больше укрупнял ее фигуру с высоким бюстом. Большой поднос барменша несла царственной, неторопливой поступью.

Человек с головой мыслителя встал, поднял руки и, бережно охватив голову барменши у висков, поцеловал ее в лоб.

«Королева!..» – услышал я его поощряющий голос.

Однако удивил меня не голос и не поступок. Угадывалось, что весь эпизод дань чисто эстетическому началу. Барменша была действительно и лицом и статью очень хороша, поцелуй был символическим поклонением чистой красоте. Удивило же меня и даже чем то обидело то обстоятельство, что для того, чтобы поцеловать женщину, мужчине пришлось приподняться на носках. Трудовое усилие поклонника снизило эффект. Получился поцелуй на цыпочках, – так у меня мелькнуло в голове. Породистая голова требовала более крупного постамент.

Но вместе с тем сила привлекательности этой личности не ослабела, даже после того, когда он, встав из за стола, уходил из зала ресторана неторопливой, напоминающей чаплинскую, походкой.

– Все пропало, кроме чести, – услышал я напоследок его реплику, прозвучавшую как девиз, запомнившийся мне пожизненно.

На этом нити сближения с Юрием Карловичем не оборвались. Наоборот, наконец наступил день личного общения, к которому я подсознательно стремился давно.

Я стоял на углу улицы Горького возле кафе «Националы». Вдруг появившийся Александр Александрович Фадеев, здороваясь со мной, сказал: «Познакомься – Юрий Карлович Олеша».

Я обомлел: так вот кто это был тогда в «Метрополе»! Я сразу узнал его, несмотря на то что с первого «знакомства» времени прошло порядочно. Каштановые волосы сменили окраску: из под шляпы выбивались посеревшие космы. Заметно поношенное пальто было застегнуто на одну верхнюю пуговицу и колоколом расходилось книзу. Но все равно притягательность личности ничуть не снижалась некоторой неряшливостью в одежде, сине серые глаза светились также пылливо проницательно.

Мы зашли в кафе. С Фадеевым я уже был достаточно знаком, об этом расскажу позже. Но вот что запомнилось. Обычно, будучи застенчивым при первом знакомстве, в этот раз я совершенно не чувствовал какого либо смущения в присутствии Юрия Карловича.

– Я играл вместе с Богемским, – сразу, как к давнему знакомому, обратился ко мне Олеша, проверяюще устремив на меня взгляд своих сине – серых глаз. (Я пишу о цвете глаз Юрия Карловича через тире, потому что они казались то синими, то серыми, наверное, как реакция на его внутреннее состояние), верите, мол, или не верите, что я играл с «самим Богемским» и вообще, дескать, знаете ли вы, кто такой Богемский?

Когда он убедился в моих достаточных знаниях истории Одессы, услышав целый ряд знаменитых фамилий, как игроков, так и деятелей, с которыми мне приходилось общаться во время частых посещений его родного города, то, как то потеплев, добродушно улыбаясь своей совершенно по детски обезоруживающей улыбкой, уточнил, что с Богемским вместе он играл не за сборную города, а за команду гимназическую.

Мы засиделись до петухов. И с того памятного вечера добрая судьба надолго связала меня самыми теплыми отношениями с этим неповторимым человеком.

Люди разные. Они как химические элементы валентны и не валентны. Игнорируя это обстоятельство, в футболе, например, тренеры бессильно бьются над созданием ансамбля пусть из сильнейших, но не валентных игроков. Бесплодная затея. Бывает так, что человек, казалось бы, одних с тобой взглядов, вкусов, увлечений, а вот поди ты – останешься с ним один на один, и чувство неловкости, какой то фальшивости тебя не покидает. А ведь знаком с человеком давно. Тут хоть сто брудершафтов пей, все равно ничего не выйдет: такие люди не валентны. Бывает наоборот – впервые встретишься с человеком – и сразу, как говорится, не разольешь водой. Что то в таких людях есть таинственно притягательное, неизъяснимо своеобразное, магнетизирующее.

К такому разряду, к сожалению не частому, относился и Юрий Карлович. Его личность непостижима. Позволю сказать, что он был очень диалектичен в своих поступках и высказываниях, в нормах поведения, в реакции на жизненные явления. Он с блеском выдающегося оратора, изысканным языком высокоинтеллигентного человека мог говорить собеседнику что то правдиво лестное и закончить разговор резким обличением его же.

Приветствуя театрального художника и поздравляя с успехом новой постановки классической пьесы в его декорациях, он закончил любезное обращение краткой, ошеломляющей репликой:

– Но все же вы похититель декораций!

В этом не было претензии на парадоксальный выкрутас. Такое он себе никогда не позволял. Просто он был правдив. Натура большого художника не терпела лжи. «Все пропало, кроме чести!» – любил повторять Юрий Карлович. В данном случае, в театральных кругах поговаривали, что эта работа художника напоминала декорации его предшественника в одноименной пьесе.

Он не терпел подражательности, мещанства, банальности и претенциозности. Он счастливо избежал этой человеческой лигатуры и в творчестве и в жизни: помогала ему здесь широта таланта, одаренность. У Юрия Карловича был абсолютный языковой слух. В любой аудитории он был «наш человек». Вот как звучал его стихотворный язык, когда он писал для рабочей аудитории транспортников, печатаясь в «Гудке» под псевдонимом «Зубило»: в стихах говорилось о капитане маленького парохода, использовавшегося им для прогулок со своей подругой:

Бисером сыплют фонарики,
Тужится, прет пароход,
На берегу у Москва реки
Края матаня живет...

Подумать только, ученик ришельевской гимназии, знаток классицизма и Краля матаня!..

Олеша был напичкан знаниями. В его мозгу находилось какое то устройство, или механизм, позволявший ему без усилий выдвигать из недр своей памяти нужный ящик с сигнатурой – Флобер, Шекспир, Петрарка, Толстой... Богемский.

С астрономами он говорил о системах небесных тел, о Кеплеровских законах всемирного тяготения, с врачами о прогрессе медицины, с актерами о формах и средствах наиболее глубокого раскрытия сценического образа. Никогда он не выглядел дилетантом.

В одном лишь он был беспомощен: не умел считать деньги. Правильнее сказать – не хотел считать. К вопросам меркантильного порядка относился презрительно. Чаше испытывал финансовый недостаток, нежели избыток. С иронией рассказывал, как, «впав в нищету», послал Василию Васильевичу Шкваркину телеграмму в Одессу, где тот отдыхал после очередного литературного успеха.

– Вы только вообразите физиономию Василия Васильевича, распечатавшего телеграмму и читающего: «Поздравляю успехом вышли тысячу Олеша», – раскатываясь смехом на все кафе «Националь», рассказывает Юрий Карлович. И добавляет, с большим

актерским мастерством расставляя акценты на неожиданном финале: – И представьте себе (пауза), на другой день получаю ответную (пауза) – «Спасибо выслал Шкваркин», – и громовое искреннее – ха ха ха!

А милейший Василий Васильевич Шкваркин, так нашумевший своим «Чужим ребенком» в Театре сатиры, сидящий здесь же за столом, смущенно улыбается, по привычке жмуря глаза, словно в них попал песок, укоризненно качает головой, как бы говоря – хватит, мол, хватит об этом.

Тема братской поддержки в бытовых вопросах у Юрия Карловича возникала в разговоре неоднократно. Писатели должны делиться излишними накоплениями с собратьями по перу, испытывающими временные затруднения. Делиться не по принуждению, а по чувству профессиональной чести и совести. Литература не должна быть источником обогащения, иначе она станет ремеслом, проповедовал он и словом и делом.

Вспоминаю Юрия Карловича в дни после получения крупного гонорара в ГИХЛе за издание его однотомника избранных сочинений. Ярослав Смеляков впоследствии с теплым юмором рассказывал мне, как Юрий Карлович – «Калиф на час» – раздаривал налево и направо банкноты из своего «неслыханного богатства». Юрий Карлович очень тепло относился к Ярославу. Еще в довоенные годы, когда не было и в помине «Строгой любви», он предвещал молодому поэту с нелегкой судьбой и своенравным характером большую будущность. Нам вместе нередко приходилось бывать в Клубе писателей, и в «Кружке», и у меня дома. Ершистый Ярослав был одним из немногих, уберегшихся от разрушительных застольных атак старшего друга на свое поэтическое творчество. Правда, печатался он в то время не часто. Читанное же за столом всегда было прекрасно. Но за эти чтения гонорар не полагался, и в ту пору Смеляков был не богаче Юрия Карловича.

В своих воспоминаниях об Олеше Ярослав как раз и рассказывает о Юрии Карловиче как о бессребренике, хорошо зная его натуру. Как, проходя в сумерках со своей милейшей супругой Ольгой Густавовной по пустынному переулку, подсовывал в форточку подвальных жилищ бумажные трехрублевки, словно рождественский Санта Клаус. Это не показное, никаких наблюдателей не было. Такое у него шло от сердца. Он любил делать добро – делиться!

В эти короткие дни финансового благополучия Олеши у меня дома раздался телефонный звонок. Сняв трубку, я услышал:

– Здравствуйте, Андрей Петрович, вам нужны деньги?

– Какие деньги? Кто это говорит?

– Настоящие, в купюрах Госбанка. Это говорю я – Олеша. Мой бюджет к вашим услугам: я баснословно богат!

Пошутив в том смысле, что я ему очень завидую, но и благодарю, зная, что это не поза в расчете на мой отказ от кредита, а чистосердечный порыв щедрого бессребреника, и порассуждав на счет превратности судьбы, я посоветовал ему положить деньги на книжку.

– Я был о вас лучшего мнения, – услышал я в телефон.

Через несколько дней у меня действительно возникла нужда занять немного денег. Проезжая мимо гостиницы «Националь», я вспомнил Юрия Карловича – «баснословно богат» – и не ошибся, забежав в кафе: он сидел на излюбленном месте за столиком у окна, в которое просматривалась Красная площадь, Мавзолей В. И. Ленина, куранты Спасской башни, храм Василия Блаженного – панорама, постоянно возбуждавшая его к словесным путешествиям по истории земли русской, от «Слова о полку Игореве» до наших дней.

С ним сидели: Исидор Владимирович Шток и Михаил Михайлович Яншин. Выбрав момент, я смущенно (деньги без смущения никто не занимает) выдал из себя свою просьбу и сразу увидел, что совершил ошибку. Юрий Карлович смутился куда более, чем я. Дело спас юмор: мы оба сидели в одной галоше безденежья. От всех богатств у Олеши осталась одна смятая двадцатипятирублевка. В этом было что то комическое.

Отсмеявшись, он посерьезнел лицом и, протянув измятую бумажку мне, строго произнес:

- Вот это вы все же возьмите.
- Последнюю, ни за что не возьму!
- Тогда я ее рву на ваших глазах.

Он говорил уверенно, спокойно, без угрозы, но в этой интонации слышалась непреложность решения. Он безусловно разорвал бы бумажку. И я деньги взял.

– «Знаменитый» Старостин предлагал мне деньги взаймы, – иронически бросил он возвратившимся к столу Штоку и Яншину, как бы объясняя висевшую в воздухе неловкость и деликатно помогая мне выбраться на сухое место.

Кафе «Националь» было, можно сказать, постоянным местопребыванием Юрия Карловича. Он стал тем огоньком, на который стремились представители творческой интеллигенции Москвы. Писатели, поэты, артисты, художники, музыканты любого ранга были постоянными посетителями этого заведения, превратившегося в тридцатые годы в своеобразную «Ротонду», что на Монпарнасе в Париже. Туда, без преувеличения можно сказать, шли на Олешу.

В то время Юрий Карлович печатался мало. И провести в его присутствии время считало за счастье множество интересных людей.

Бесконечно жаль, что его устные рассказы, обличительные памфлеты, экспромты, возникавшие в ходе застолья по поводу проскочившей в литературу, в кино или театр «макулатуры графоманов», остались лишь в памяти слушавших. Какая бы это была умная книга. Ведь «Ни дня без строчки» лишь небольшая часть того, что воспроизводила в устном изречении голова этого фантастически не похожего ни на кого другого писателя мыслителя.

Он был требователен и к себе и, если чем то был недоволен в своем профессиональном проявлении, говорил об этом вслух, может быть несколько маскируя преувеличенной критикой свое действительное отношение к сделанному. Например, не получив художественного удовлетворения от фильма «Ошибка инженера Кочина», в котором он был соавтором по сценарию, многократно говорил:

С ошибкой инженера Кочина
Моя карьера в кино окончена!..

Он был неистощимо изобретателен на сюжеты из ничего. А вот если бы... А вдруг бы случилось так... Представьте себе на минуту... И в каждом случае возникала необычная тема с последующим разветвлением всевозможных побочных ситуаций. Его рассказ об уличном поединке с каким то снобом, прогуливающим своего добермана по Лаврушинскому переулку, был одним из тех маленьких шедевров, когда слушающие смеются, как говорят, от души.

Ссора возникла из пустяка. Сноб с собакой не уступил стезжу, протоптанную по тротуару в снегу. «Собака посторонилась, а этот наглец стоял на пути!» После долгих словопрений – надо было слышать набор изысканных оскорбительностей, летевших в адрес сноба, – Юрий Карлович «решил атаковать». Но сноб защищался собакой. Судьбу поединка решил доберман. Возмущенный «коварством этого труса», кобель укусил хозяина за ляжку, и «я с презрением прошел мимо этого труса».

Как то Юрий Карлович по установившейся традиции принимал Михаила Михайловича Зощенко, питавшего к нему взаимную симпатию. Пригласив меня на официальный обед в «Националь», он предупредил, что, возможно, будет Николай Робертович Эрдман.

Обычно в кафе Юрий Карлович не любил церемонную сервировку, изысканные закуски. Вобла, нарезанная «студенческим куском» колбаса ничуть не смущали непривередливых завсегдатаев его столика. Ценилась духовная пища, всегда в изобилии находившаяся в его распоряжении.

Но приезжавшего из Ленинграда Зощенко он всегда принимал «великосветски».

Обед шел вяло. Печальные, с поволокой карие глаза ленинградского гостя почти не оживлялись искоркой улыбки, Николай Эрдман, чуть заикаясь, пытался утеплить атмосферу,

шутливо отдавая дань гостеприимству Юрия Карловича. Но того на такой крючок не подсечешь. Нельзя сказать, что никто ни разу за эти два три обеденных часа не рассмеялся. Каждый разок другой отдал дань остроумию собеседника, но вместе мы, сразу все, вот как смеялись в «Метрополе» Катаев, Стенич, Никулин и Олеша, ни разу не взорвались.

Уже нам принесли кофе с коньяком. Приближался обеденный финиш.

– У вас есть спички? – обратился ко мне Олеша.

Я зажег спичку, услужливо поднес огонь к сигарете, и пламя коснулось пальцев Юрия Карловича. Он вскрикнул от боли и, отдернув руку, разглядывая опаленное место, в сердцах произнес:

– Последние пальцы сожгли!..

Звонко рассмеялся Зощенко. Вспыхнул смехом Николай, не смог удержаться и я. Но громче всех раскатился своим ха ха ха сам Юрий Карлович. Уж больно смешной досадой на жизнь прозвучала эта комическая по несуразности реплика!

И пошла, и пошла эта тема шириться и углубляться под обработкой этих мастеров юмора.

Быстро нарисовалась картина. Скучно обставленная спальня, разбуженная поздним возвращением подгулявшего мужа сердитая жена. Этаким мармеладовский вариант.

– От тебя паленым пахнет?! – Юрий Карлович блестящий актер, в его вопросе, от лица жены, слышен гнев и обличение.

– Что там у тебя с руками? – в тон ему продолжает Зощенко.

– Я тебя, негодяя, спрашиваю, что ты там прячешь за спину? – уточняет ночную сцену Эрдман.

Кофепитие задержалось до закрытия ресторана. Было весело и непринужденно. А тема о неудачнике муже, которому «последние пальцы сожгли», пошла с легкой руки Юрия Карловича приобретать все новые и новые сюжетные развития. И фамилию герой приобрел – Матюгин, и превратился он в прототип генерала Дитятин из горбуновского рассказа, и не раз мы его узнавали в пьесах современных драматургов, в собирательном образе никчемного неудачника.

Помню, я уговорил Олешу поехать на футбол. Под моросящим дождем мы расселись на трибунах московского стадиона «Динамо». Матч был из разряда решающих. Победителям он обещал большие радости, ну а побежденным, естественно, не меньшие горести. Как всегда, на трибунах было много шума, свиста, криков и мало объективности. Я уже чувствовал, что в моем госте справа (слева сидел Фадеев и Вениамин Рискинд) зреет недовольство. Я знал его взгляды на футбол. Он неоднократно высказывал свою триединую ипостась – красота, сила, честь. Воспитанный в романтические времена русского спорта, Юрий Карлович начисто отвергал какой бы то ни было прагматический подход к тактике игры.

– Я не признаю футбол в мундире; если я форвард, мне незачем бежать к своим воротам, я буду искать победу на половине поля противника, – убежденно растолковывал он мне свою позицию. А я с ним и не спорил, всегда в душе любивший наступательный футбол.

А между тем на поле все больше применялись «грязные» приемы игры.

– Куда вы меня привели? Здесь нужна милиция и бригадмил, чтобы убирать с поля распоясавшихся мальчишек. Ведь это же общественное место!

В это время защитник так ухватил убегавшего в прорыв форварда за майку, что Юрий Карлович прямо таки закричал:

– Где вы видите футбол? Где нет чести – там нет футбола! И это воспитанники Бейта! – сокрушался он, вспоминая популярного в дореволюционной Одессе футбольного судью Бейта, непримиримо относившегося к нарушителям правил игры.

И вдруг за безобидное касание мяча рукой судья назначил одиннадцатиметровый удар – высшую меру наказания в футболе.

– Казнь гольмана!! – воскликнул Юрий Карлович.

Он пользовался устарелой терминологией одесситов времен Бейта, называя вратаря голманом, защитника беком, полузащитника хавбеком, нападающих центральной тройки – инсайдов: полулевый форвард, полуправый. Центральный так и остался центральным и крайние – крайними.

Дождь продолжал накрапывать, и по осеннему времени ему не предвиделось конца. Юрий Карлович сидел ссутулившись, мокрые, с сильной проседью волосы длинными путаными прядями спадали ему на лоб. Он сверлил взглядом «лобное место» – меловое пятно в одиннадцати метрах от линии ворот.

Из глубины поля неторопливой трусцой приближался к этому месту для производства казни «палач». В воротах, пригнувшись, на полусогнутых ногах, широко разведя руки в стороны, застыла «жертва».

Настало мгновение наивысшей футбольной кульминации. Исполнитель нанес удар. Но гильотина не сработала. Под громоподобное «А а а!», одновременно исторгнутое трибунами, произошло маленькое чудо: сильнейший удар, направленный в нижний угол ворот, вратарь в непостижимом броске парировал.

Вместе со всеми Юрий Карлович восторженно аплодировал. Восторжествовала справедливость. Решение судьи о назначении штрафного удара он считал несправедливым. Футбольный мяч установил истину!

Но драма, как оказалось, не закончилась. Судья решил, что вратарь нарушил правило, преждевременно, до удара, сдвинувшись с места, и назначил повторение «казни».

– Заговор!! – загремел Олеша на всю трибуну и, с силой опершись на наши плечи руками, выжался с тесного места и со словами: «Я никогда не участвую в насилии» – застегнул по привычке пальто на одну верхнюю пуговицу, отчего фалды расширились колоколом, и неторопливой походкой направился к выходу.

Попытку задержать его мы не сделали. Что такое Юрий Карлович во гневе, мы знали хорошо.

Пишу эти строки и задумываюсь. А что бы сказал Юрий Карлович, если б вдруг он сегодня оказался на трибунах стадиона наблюдавшим футбольный матч. Сказал бы: «Заговор!! Где бригадмил?!» – боюсь, что сказал бы...

Однажды мы прогуливались с Юрием Карловичем по тенистым аллеям Дома творчества в Переделкине. Стояла умиротворяющая золотая осень. На душе, как и в природе, спокойная уравновешенность. Торопиться было некуда и незачем. Футбольные проблемы текущего сезона были благополучно в основном решены. Юрий Карлович пребывал в «рабочем настроении». Неторопливым шагом – я не помню его торопящимся – он вымерял аллейки и вдруг сказал, перескакивая с другой темы разговора с элементом внезапности: «Я работаю над инсценировкой „Идиота“, – и, озадачив меня, с испытующим взглядом ожидал моей реакции. Он не очень то любил приглашать в свою творческую лабораторию кого бы то ни было.

Я не скрыл приятного удивления. Тем более что не раз в беседах о Достоевском он отрицательно отзывался о моем любимом писателе. «У него очень много крови, – говаривал Юрий Карлович, – а человечество по своей природе не любит пролитую кровь, люди предпочитают читать про любовь, про цветы».

Я напомнил ему об этом. Он возразил: говоришь, мол, не всегда то, о чем думаешь, часто примеряешься только. А вот пишешь всегда о том, о чем думаешь. Во всяком случае, добавил он после небольшой паузы, я пишу, опираясь только на это правило.

Некоторое время спустя он пригласил меня в Театр имени Е. Б. Вахтангова, «на Борисову». «Войдем с третьим звонком, будет незаметнее...»

В притушенном зале мы уселись на свои места в средних рядах партера. Он надел на себя маску полного безразличия. А я, с детских лет привыкший в театре обособляться, «уходить на сцену», о своем именитом соседе позабыл. К тому же Юлия Борисова представилась мне столь поразительно похожей Настасьей Филипповной, живущей в моем воображении после множества раз прочитанного романа, что я и думать забыл, что сижу в

зрительном зале. Вспомнил об этом только тогда, когда под занавес первого акта услышал: «А ведь получилось, черт возьми, а?» – и увидел глаза Юрия Карловича, искрившиеся затаенной радостью.

По окончании спектакля, как только закрылся занавес, Юрий Карлович потянул меня за рукав из зала в гардероб. Мы быстро оделись и так же, как пришли, незаметно ушли из театра. Прощаясь, он прервал мою попытку поздравить его с крупным успехом короткой репликой: «Достоевского трудно испортить» и своей неторопливой походкой побрел по направлению к Арбатской площади.

Юрий Карлович был для меня человеком, которому я нравственно был подотчетен. Я до конца верил в его честность и объективность. Не последнюю роль в этом сыграло его выступление на Первом съезде писателей. Он выступил благородно и достойно. В минуты житейских сомнений я часто мысленно задавал себе вопрос: а как бы рассуждал в данном случае Юрий Карлович?

К приезду басков у меня сложились, как мне казалось (в который раз), незыблемые взгляды на суть футбольной игры. После встречи с профессионалами в Чехословакии в 1934 году; после игры с «Рэсингом» в Париже 2 января 1936 года, когда за французскую команду фактически выступала сборная Европы, после лекции английского тренера Кемптона, специально приглашенного для подготовки «Рэсинга» и вырвавшего у нас победу со счетом два один только за счет тактической новинки, так называемой дубль ве; после бесконечных споров и пересудов о сущности этой тактики, так огорошившей нас в Париже, – мне казалось, что я постиг все тайны непостижимой игры. Во всяком случае, мои разглагольствования о высочайших достоинствах нашего футбола Юрий Карлович воспринимал, как откровения пророка. «Нет, вы только послушайте, как мы высоко стоим на международной футбольной арене, ведь это сам Старостин утверждает!» – восторженно обращаясь к собеседникам Юрий Карлович и немедленно вступал в полемику, защищая мои взгляды, если кто либо высказывал сомнения по поводу моих утверждений о силе нашего футбола. Признаться, я искренно верил в то, что говорил. И вдруг у себя на поле такой афронт. Первый обладатель Кубка СССР московский «Локомотив» проигрывает баскам один пять! Никогда наши команды не проигрывали с таким крупным счетом зарубежным футболистам.

Вот почему я испытывал неловкость, обсуждая на другой день в кафе «Националь» вчерашний футбольный казус.

Как сейчас вижу, мы сидим за столиком у широкого окна: Юрий Карлович, Михаил Михайлович Яншин, Арнольд Григорьевич Арнольд, Евгений Захарович Архангельский. За окном чудесный солнечный летний день, нескончаемым потоком движутся москвичи по Охотному ряду к Манежу, к университету, к Красной площади, к площади Свердлова, к улице Горького. Узловой перекресток в самом сердце древней столицы, народу полным полно, и мне кажется, что все только и думают и разговаривают о басках. Уж больно взбудоражила меня их игра. Все мои схемы тактических построений, казавшиеся мне непреложными истинами, только что утвердившиеся в сознании после осмысления опыта встреч с профессионалами, рушились, как карточный домик. Я испытывал определенную неловкость, но вынужденно защищался, находясь в полном одиночестве, когда высказывал надежду, что в следующей игре динамовцы смогут добиться успеха.

Вот как я пишу в «Большом футболе» об этом застолье.

«Юрий Карлович спрашивает меня:

– В чем дело? Почему проиграли? – И сам же, не давая мне открыть рот, отвечает: – Они сильнее! Вариантов нет.

– Варианты есть! – кричу я. – Есть!

Но Михаил Михайлович морщится.

– Вряд ли.

– Все зависит от того, как построят свою оборону динамовцы.

– Как бы ни строили, все равно проиграют, – мрачно изрекает Архангельский.

За мной заезжает Роман Робертович Граслов. Нужно ехать на фабрику. Я покидаю собеседников.

– Что, – говорит Граслов в машине, – торговали – веселились, подсчитали – прослезились?

Это явный намек.

– Обыграли «Жиденице» и решили, что вам уже равных нет?

Вечером я спрашиваю у тренера динамовцев – Виктора Ивановича Дубинина:

– Как вы думаете ответить на выдвинутых вперед Лангару, Горостицу и Алонсо?

Я помнил, как жарко спорил Дубинин в Париже по поводу куаровских вылазок на наши ворота.

– Центрального и крайних нападающих надо персонально закрывать, – отвечает Дубинин.

«Правильно решают динамовцы, – думаю я. – Закрывать их, конечно, надо, но как? Закрывание выдвинутого вперед Лангары ломает всю схему привычной расстановки защитных линий...»

Динамо́вцы играли с достоинством, были близки к успеху, но победили баски. Опять Лангара, этот самый крупный центрфорвард из виденных когда либо мной, пушечным ударом забил победный гол. Матч закончился со счетом два один в пользу гостей.

Московские динамовцы тогда были признанными лидерами нашего футбола. Дело принимало дурной оборот. Престижу советского футбола грозил сильный урон.

А дальше пошло и пошло: под натиском испанских футболистов не устояли минчане, тбилисцы, киевляне и еще раз москвичи в матче реванше, проигравшие баскам четыре семь. Лишь сборная Ленинграда сыграла вничью: два два.

Я хорошо помню эти дни всеобщего возбуждения, когда Тарасовка сделалась центром футбольного притяжения – «Спартак» предстояло играть с басками последний матч.

Нас, Старостиных, пригласил к себе в кабинет А. В. Косарев. Он уже имел опыт организации футбольных коллективов на большие дела. Он напутствовал нас на первую встречу с профессионалами, добродушно приговаривая ободряющую поговорку: «Не боги горшки обжигают, ребята, – не боги!» У него это получалось уж очень успокоительно. Он поблескивал искорками глаз, сдержанно, по косаревски улыбался и чуть мягче обычного произносил букву «р», от чего теплело на душе и верилось, что горшки мы обжечь сумеем. Тем более что Дмитрий Дмитриевич Лукьянов не упустил случая сказать свой широко известный каламбур: «Кесарево – кесарю, а Косареву – Косарево!» – везите, мол, ему победу, и точка.

Удалось тогда победить лидера профессионального футбола Чехословакии, команду «Жиденице» из города Брно со счетом три два.

Провожал нас с Белорусского вокзала Александр Васильевич в промозглый декабрьский день, поеживаясь на пронизывающем ветре, гуляющем по перрону перед отправкой экспресса «Норд», следующего по маршруту Москва – Париж.

Там нам не удалось взять верх в традиционном для Парижа новогоднем матче на стадионе «Парк де прэнс». Победа «убежала» от нас на последних минутах игры. Но мы привезли оттуда самую хвалебную прессу:

«Московская команда подтвердила международный класс русского футбола»...

«Эксцельсиор».

«Советские футболисты покорили вчера Париж. „Никто не ожидал такого блестящего зрелища“...

«Пари суар».

«Московская команда проиграла, но она ничуть не разочаровала многочисленных зрителей. Она дала нам возможность насладиться тонкостью игры и виртуозностью своих игроков»...

«Эко де Пари».

«Москва обладает великолепным нападением. Мне иногда казалось, что передо мной австрийский „Вундер тим“ („Чудо команда“), несколько лет тому назад считавшаяся непобедимой»...

«Эксцельсиор».

«Русские нападали с первых минут и до конца матча. Они форменным образом штурмовали французские ворота. Между тем они проиграли. Французы же, все время защищавшиеся, ограничившиеся всего лишь несколькими прорывами, победили»...

«Прагер тагетблатт» (Прага).

«Русские на протяжении всего матча держали под угрозой французские ворота»...

«Эндепанданс Бэльж» (Брюссель).

«Счет два один в пользу „Рэсинга“ еще не означает перевеса одной команды над другой»...

«Морнинг пост» (Лондон).

Все это читал, помнил и понимал Александр Васильевич. Он любил футбол и знал ему цену, как самому популярному из массовых народных зрелищ. Не случайно по его инициативе в 1937 году футбол во всех красках был показан на Красной площади в День физкультурника. И вдруг в дни приближения этого праздника здорового тела и духа незавидная серия поражений.

А мы: Николай – председатель общества «Спартак» Московского городского совета, Александр – капитан команды «Спартак» и я, вице капитан, сидим в кабинете руководителя комсомола, ощущаем долю своей вины. Может быть, потому и чувствуем себя так, что остались вне активного участия в этих волнующих футбольных событиях. Ведь как никак, а мы все трое игроки сборной команды. Все в разных матчах выводили сборную с капитанской повязкой на руке.

– Одним словом, у басков надо выиграть, – заканчивает Косарев анализ создавшейся обстановки и добавляет: – Выиграете, поедете на рабочую Олимпиаду в Антверпен и оттуда на Всемирную выставку в Париж.

Баски были еще где то на юге, а «Спартак» отобилизовывал свои силы для встречи с ними.

Вот когда Тарасовка стала главной ставкой футбольного верховного командования.

Глава 7 ФУТБОЛЬНЫЙ АВРАЛ

Есть такие тренеры, которые, затрагивая профессиональную тему, говорят: «Я выиграл у „Динамо“, „Я играю со „Спартаком“». Самая худшая разновидность бескультуры, породившая самомнение. Когда Яншин слышал такое, к сожалению, и до сих пор нередко звучащее „якание“, он взрывался и гневно спрашивал: «Во что же это вы играете? – и добавлял: – В шашки, в городки, в преферанс?..»

В самом деле, есть такие тренеры. На себе испытал тяжелый пресс тренерской самовлюбленности. Такой педагог угнетает творческое проявление игрока, низводит его мышление в ходе игры до уровня программы механической куклы.

В свое время, когда тренерам разрешалось стоять возле ворот, такие футбольные нарциссы в особенности были вредны, ибо подавляли все проблески проявления индивидуальности на поле. Стоит он за воротами и бубнит: «Ваня, направо», «Петя, налево», «Андрей, в центр», совершенно не понимая, что его приказы не что иное, как запоздалая информация, исключающая возможность реального осуществления. Пока он прокричит свои указания, пока игрок их опосредует в калейдоскопе перемещений, пока, скажем, двинется в нужном направлении, на поле уже возникает совсем иная ситуация, которую тренер и предвидеть не мог.

– Убирайся отсюда подальше! – не сдержался я однажды, когда тренер поучениями из за ворот довел меня до бешенства. Мы в тот момент отбивались от яростных атак

противника в одном из решающих матчей на Кубок СССР, и я чуть было из за его указки не сделал оплошности, грозившей почти неизбежным голом.

Поэтому в спартаковской практике, как мы иронически говорили по этому поводу, было покончено с монархическим строем. Тренер любого ранга ограничивался в своеволии, как комплектуя команду, так и принимая меры воспитательного воздействия. «Вы что мне „булыгинскую думу“ организуете в виде вашего тренерского совета», – возмущался тренер, когда ему сказали об ограничении абсолютизма. «Всего навсего рабочий контроль на производстве», – смеялись ребята.

К моменту игры с басками у нас уже существовал тренерский совет, немаловажную роль в котором играл «профессор» Исаков. Тренером был выдающийся спортсмен Константин Павлович Квашнин, идею создания правомочного тренерского совета он полностью поддерживал.

В те годы спартаковские футболисты имели привилегию. Им за счет общества предоставлялось право снимать дачи в Тарасовке. Поэтому все футболисты с женами и детьми – в те времена для игроков не было ограничительного возрастного ценза, большинство из них было женатыми – расселились рядом, за забором стадиона. Тренируйся хоть весь день – поле рукой подать.

На нашей даче было полно народу. Я среди остальных представителей мира искусства единственный спортсмен. Мои соседи по дому Яншин с Лялей, Лесли с сестрой моей жены Александрой и жена Ольга – работники театра.

– Вставай, Земфира, солнце встало! – прогудит, бывало, Платон Лесли, ставивший в театре «Ромэн» спектакль «Цыгане» по одноименной поэме Пушкина.

Это была счастливая для нас пора. Мы все время куда нибудь торопились. Артисты мчались то на репетицию, то на спектакль, то на концерт. Платон то во МХАТ, то в «Ромэн», то в ГИТИС, где преподавал. Я – на работу, которую никогда не бросал, несмотря на все более возникающие трудности совмещать должность директора фабрики спортивного инвентаря с футболом. Про Яншина и говорить нечего: у него и МХАТ, и «Ромэн», и съемки в кино.

И мы спешили. Жизнь была ключом. Молодость и нетерпеливость неразделимы. Мы торопились обогнать время и забывали радоваться, вернее, не замечали радости своего бытия – было некогда. События наслаивались одно на другое и вращались в память вместе с новыми впечатлениями, с новыми героями и их незабываемыми свершениями.

Челюскинская эпопея, грозившая превратиться в трагедию, завершилась победой героев полярников, вызвав всенародное ликование. И вот уже воскресает в памяти торжественное возвращение челюскинцев в Москву. Знакомство с первым Героем Советского Союза Анатолием Ляпидевским. Молодой, крепко сбитый, хороших средних пропорций, Ляпидевский впоследствии виделся мне в облике первого космонавта Юрия Гагарина. Та же притягательная улыбка, тот же открытый взгляд серых глаз.

– Ты понимаешь, – рассказывал он о своих переживаниях во время спасения челюскинцев, – загрузил самолет, теперь самое трудное осталось: оторваться от ледового аэродрома, неровного и предельно короткого!

У меня и сейчас мурашки бегут по спине, когда я об этом его рассказе вспоминаю сорок лет спустя, бегут так же, как и тогда, когда впервые слышал его в моей маленькой квартирке на Спиридоновке. В самом деле – «успею или не успею», один миг, не сумеешь вовремя выбрать штурвал на себя, и самолет врежется в заснеженные рапаки и наледи. И люди, только что испытавшие радость спасения – себя он в расчет не принимал, – обрекались на неотвратимую гибель. Один миг, но каких переживаний он стоил летчику! И он таки вытянул штурвал на себя, невероятным усилием успел оторвать самолет за два три метра до смертельной границы ледового аэродрома и взмыл вверх над гибельными торосами и рапаками Арктики, державшей в своем студеном плену человеческие жизни. Самолет Ляпидевского и доставил первых челюскинцев на Большую землю.

Рассудительный, спокойный, ровный, каким я знаю Ляпидевского вот уже скоро полвека, даже он, помнится, прибавлял обороты, когда заходила речь о предстоящей игре с испанскими футболистами.

– Во что бы то ни стало надо вытянуть штурвал! – не так уверенно, как до приезда басков на нашу землю, говорил я ему, рассказывая о предстоящей задаче...

К тому времени имя Валерия Павловича Чкалова достигло апогея славы и популярности. Еще до своих знаменитых перелетов он заявил о себе в летных кругах как о пилоте беспримерной отваги и мастерства. Рассказывали и о его лихаческих воздушных рекордах, в том числе о беспримерном пролете под Троицким мостом в Ленинграде.

Знаменитые рекордные перелеты – прежде всего беспосадочный от Москвы до острова Удд, через Северный полюс в Америку – принесли Валерию Павловичу всемирную известность. Чкалов стал желанным гостем всех творческих клубов. Был он и частым посетителем «Кружка». Там я с ним и познакомился. Собственно, не познакомился, а просто услышал однажды, как он ко мне обратился: «Здорово, Ондрей!» Я сидел с Яншиным. До чего же великий гражданин, каким мне виделся Чкалов, простодушно высказал свое приветствие с резко обозначенным ударением на «о»: по погостовски, как мой друг детства Мишка Марьин. От него веяло простотой, былинной повадкой совершенно свободного в обращении и потому привлекательного в своей искренности человека. Весь его внешний облик: открытое, чуть побитое оспинками лицо, русоволосая голова, усадистая плотная фигура с сильным торсом – все дышало здоровьем, подчеркивавшимся неторопливой, уверенной походкой.

Он был очень пытливый и интересный собеседник. Любил театр и говорил на эту тему охотно и долго. За столом, в окружении Михаила Михайловича Климова, Александра Абрамовича Менделевича, Владимира Яковлевича Хенкина, нередко Ивана Михайловича Москвина и других корифеев театра и эстрады, Валерий Павлович мог с жаром отстаивать свою точку зрения на достоинства того или иного спектакля, даровитость или посредственность нового эстрадного исполнителя. Всегда это было как то по чкаловски непосредственно и откровенно, часто очень метко.

И к спорту, разумеется, он не был равнодушен. Сидя с ним на футболе, я не раз слышал его реплики по поводу «бескрылого футбола». «Сбились с атакующего курса» или: «Не высший пилотаж» – окал он на трибуне, когда игра не удовлетворяла его темпераментную натуру. Но не скупился и на похвалы: «Вот это по нашенски!» – приветствовал он игрока, красиво забившего гол.

Встретиться в общественном месте, чтобы обсудить футбольную игру, с ним было невозможно. Однажды мы со стадиона заехали в ресторан «Прага», нам сопутствовал его друг Иван Спиридонович Рахилло. Не успели мы сесть за стол, как сбежались все посетители. И мужчины и женщины. «Чкалов! Чкалов! Чкалов!» Окружили столик плотным кольцом, каждый норовит руку ему пожать. Еле еле протискались к выходу.

В свободное время Валерий Павлович любил развлечься бильярдом. В то время разыгрывался чемпионат страны по этому виду спорта. Финальная часть турнира проводилась в дубовом зале Союза писателей, сейчас в нем ресторан. Выступал там весь цвет бильярдного мира. Вот знаменитый Бейлис – Николай Иванович Березин, призадумавшись над позицией, воздержался от активного удара и отыгрался, что по футбольному означает – ушел в защиту. Чкалов, бывший среди зрителей, так и подскочил, что, мол, за трусость такая.

Чемпион партию проиграл. А Валерий Павлович, выговаривая Бейлису за чрезмерную осторожность, на возражения проигравшего, что шар был для активного удара чрезвычайной сложности, выхватил у него из рук кий, восстановил позицию, прицелился и труднейший шар «через весь стол» со звоном загнал в угловую лузу. В этом весь Чкалов. Вера в преодоление любого препятствия: безумство храбреца, проистекающее от природной талантливости и уверенности в своих силах.

Погиб он по какой то роковой случайности. Накануне был в «Кружке». Играл в бильярд. Собирался на другой день пойти в театр. Был полон жизни и здоровья.

Когда в моем фанерном кабинете назавтра раздался телефонный звонок, то в его звуке почудилось что то зловещее, предостерегающее. Чуются в таких звонках пронизывающие сердце тона. Отчего это происходит – объяснить не могу. Но и в данном случае я вздрогнул и поторопился снять трубку.

– Валерий Чкалов погиб, – услышал я голос журналиста Бориса Громова, одного из челюскинских сподвижников, в свое время чемпиона страны по спринту, моего давнего приятеля и одноклубника.

Сраженный невероятной новостью, я лишь прошептал: «Боже мой!» Непостижимость, неожиданность происшедшего ошарашила: как это так – Валерий Чкалов погиб?

Позднее выяснились обстоятельства катастрофы. При очередном испытательном полете забарахлил мотор. Пилот с трудом дотягивал до Ходынского поля. На беду, когда самолет пролетал над Хорошевским шоссе, из фабричных ворот вышла группа рабочих. Избегая возможных жертв, летчик вынужден был взять в сторону, потеряв надежду избежать аварии. Может быть, она и не закончилась бы летальным исходом – тело пилота осталось невредимым, но злой рок жестоко сгримасничал: при падении летчик головой ударился о валявшуюся близ дороги чугунную полуось с колесом, что и послужило, как объясняли, первопричиной его смерти. Надо же было именно здесь валяться проклятой полуоси.

Эта трагедия произошла позже, а пока Валерий при встречах тоже выговаривал мне, как и Бейлису, – чего, мол, вы их испугались, этих басков, смелее атаковать надо!

Я бы и рад атаковать, но у меня болела нога. Поскользнулся на тренировке во время удара по мячу, и в паху отозвалось резкой болью. Чего я только не предпринимал: и грязи, и физиотерапию, и массаж – ничего не помогало. Хожу – не болит, как только делаю рывок – словно шилом в пах колет!

– Ну что, Нога, – употребляя юношеское прозвище, сочувственно обращается ко мне Петр, – плохо с ногой?

Я безнадежно отвечаю: «Плохая нога». И мне завидно глядеть, как мои одноклубники с азартом тренируются – у них впереди баски! А я стою за бровкой поля, в какой уже раз проверяю больную ногу, пытаюсь вытянуть ее, как говорят гимнасты, «впреднос», но куда там, нога бессильно опускается вниз.

Непреодолимое желание сыграть с испанскими футболистами заставляет меня прислушиваться, казалось бы, к самым невероятным советам. Наблюдая однажды за моими попытками вытянуть ногу после приема парафиновой процедуры, Евгений Захарович Архангельский порекомендовал мне применить лошадиные лекарства. У вас, мол, «брокдаун», и лечить его надо лошадиными средствами.

Я отправился к своему старому знакомому, выдающемуся жокею, впоследствии тренеру Джамбо Михайловичу Камбегову.

Поговорили о больной ноге. Джамбо вспомнил про Романиста. Был такой жеребенок. Незадолго до Всероссийского «Дерби» захромал. Вильям Кэйтон втер ему лекарство под названием «навикулин». Жеребенок вышел на старт как ни в чем не бывало. Побегал и приз выиграл. Все это он мне рассказывал, роясь в старинной укладке, на дне которой наконец обнаружил пожелтевший листок бумаги и, осторожно развертывая его, боясь порвать на сгибах, обратился ко мне:

– Вот рецепт, мне его сам Вильям Франкович записал. Попробуй, Петрович, потереть по больному месту, может, и ты вроде Романиста свой приз выиграешь.

Компонентов, входящих в состав лошадиного лекарства, насчитывалось более двух десятков. И камфара, и какие то эфирные масла, и муравьиный спирт, и много другой разогревательной всякой всячины, и даже яичный желток.

Я посоветовался с Бондаревским. «Валяй, – сказал он, – хуже не будет!» Врач нашей команды Лев Осипович Кагаловский был очень удивлен количеством и сочетанием

компонентов лекарства, а когда я ему сказал, что оно для лошадей, недвусмысленно посмотрел мне в глаза и протянул: «Н да а!»

Но, используя свои обширные возможности по обеспечению футболистов редкими медикаментами, Кагаловский все составные навикулина достал, и целительный препарат был изготовлен по строгой методологии Кэйтона. Лекарство представляло жидкость с желтоватым оттенком, которую я не без опаски стал втирать в области пахового кольца.

Не знаю, как чувствовал себя во время процедуры Романист, но я при первом же сеансе втирания заржал от боли и забил ногой об пол, как копытом. Кожу палило огнем и мышечную ткань пронизывало иглами.

Лекарство оказалось чудодейственным. Впрочем, может статься, это было «чудо», совершенное баранкой, съеденной после трех калачей, и просто настал уже срок выздоровлению вследствие длительного лечения, которым я пользовался до навикулина, но факт остается фактом: несколько втираний – и боли стали ослабевать, я смог начать форсированную подготовку к встрече с басками. А спортивный накал вокруг гастролей басков все нарастал. Как снежный ком, катящийся с горы, увеличивается в размерах, так возрастали победы испанцев, одержанные в самых крупных футбольных центрах страны – Москве, Киеве, Тбилиси, Минске. Восторженные рецензии, хвалебные обзоры не были преувеличениями достоинств футболистов с Пиренейского полуострова, они действительно демонстрировали высшее мастерство.

Два имени чаще других упоминались в жарких спорах о предстоящих и прошедших встречах с испанскими футболистами – Луис Регейро и Исидро Лангара.

Я уже повидал их и в жизни и на поле.

Первый был капитаном команды. Небольшая узкая голова с темноволосой гладкой прической на пробор и с залысинами на висках. В облике нечто аскетическое, что не мешало разглядеть доброжелательность во взгляде черных, как маслины, глаз и мягкую открытую улыбку. Ладно, по футбольному скроен: в меру высок, в меру широк, ни грамма лишнего веса. Своей игрой он подтверждал известное правило, что все звезды мирового футбола являются неутомимыми тружениками. Колесил по футбольному полю, не зная усталости. Настоящий капитан, личным примером увлекающий партнеров искать победу только в воротах противника. Его авторитет в команде был неколебим, поскольку покоился на выдающемся мастерстве, воспитанности и такте.

Второй – Исидро Лангара – поражал своей физической мощью. Это был самый габаритный центральный нападающий из элиты мирового футбола. Он не обладал верткостью выюна, свойственной, скажем, Сергею Ильину, или математически рассчитанной точностью паса «профессора» Исакова, но в совершенстве владел своим грозным оружием, против которого пока наши футболисты не нашли должной защиты: он шел к воротам противника кратчайшим путем и при первой реальной возможности наносил сокрушающий удар по цели. Быстрый бег, высокая техника и неустрашимая борьба за верхние мячи позволили ему блистательно защитить свое звание, единодушно присвоенное ему прессой на мировом чемпионате в Италии всего за два года до его приезда к нам: «Золотой канонир». В каждом матче на наших полях он забивал «свой» гол.

– Ну, как будем играть с басками, по большому счету? – задал мне вопрос Александр Александрович Фадеев, сидя в машине, когда мы с ним ехали к нам на дачу в Тарасовку.

Должен несколько отвлечься, чтобы стало понятно это «по большому счету». Дело было в Сухуми, где я, находясь на сборе с командой, после изнурительной тренировки накануне наслаждался выходным днем и в числе многих отдыхающих, разморенных жарой, встал в очередь к буфету гостиницы «Рида», чтобы выпить чегонибудь освежительного.

– Вы последний? – спросил я у высокого мужчины с млажавым лицом, не по погоде одетого в защитную гимнастерку, брюки «галифе» и сапоги.

– Теперь вроде бы вы, – усмехнулся «военизированный тип», как я про себя его обозначил, готовясь уже задиристо ответить на насмешливый тон незнакомца. Но я удержался от выпада, потому что в его иронии не почувствовалось язвительности. Наоборот,

лицо молоджавого мужчины освещалось явно благожелательной улыбкой. Рано поседевшие волосы отсвечивали голубизной. Все в нем дышало простотой, жизнерадостностью и вызывало ответную улыбку. Не случайно Юрий Карлович Олеша называл его «наш голубой Сандро».

Мы разговорились. Коснулись, конечно, футбола. Как потом выяснилось, он тоже играл в юности и в футбол и в хоккей где то у себя на родине в Приморском крае. Я, маскируя горечь поражения нашей команды в товарищеском матче здесь, в Сухуми (любые неудачи переживал тяжело), отшучивался: играли, мол, по малому счету, проходной матч, результат значения не имел. Собеседник, сразу став серьезным, сказал: «Играть всегда надо по большому счету!»

Когда подошла наша очередь, буфетчица вопросительно поглядела на нас, ожидая заказа. Сухое вино наливалось в большие и в маленькие кружки.

– Две больших, – попросил я и, обратившись к собеседнику, добавил: – Будем играть по большому счету? – Он ответил залившимся смехом.

Мы довольно долго просидели в буфете. Сначала он отрекомендовался: «Саша». Каким то чутьем, не спрашивая, я догадался, что это знаменитый автор «Разгрома». К писателям у меня с самого раннего детства был повышенный интерес. Многих видел, слышал с эстрады, с кем то знакомился. Но вот так, запросто – с самим Фадеевым! Что то чудилось в этой случайности предопределенное. Однако я совсем не испытывал смущения. Отношения упрощались с каждой минутой. Вскоре мы были на ты – Саша и Андрюша. Именно так он меня называл в отличие от всех моих родных, друзей и знакомых, для которых я – только Андрей. Однако ласкательная форма не звучала фальшиво, и пришли мы к ней без всякого брудершафта.

Фадеев предложил покататься на лодке. Когда мы выгребли в море, он опустил весла, снял гимнастерку, стянул сапоги, разматал портянки, освободился от галифе и остался в коленкоровых белых исподних, завязанных у лодыжек тесемками. Встав на сиденье, мой спутник вытянулся во весь рост, поднял руки кверху и как завзятый пловец ринулся в воду вниз головой.

Сам я пловец неважный. Помню, когда сборная команда сдавала нормы ГТО по плаванию в открытом бассейне на Москве реке, мы – Федор Селин, Василий Павлов, Сергей Иванов, Николай, Александр и я – так нескладно бултыхнулись со стартовых вышек, что стоявшие на помосте пловчихи только покатывались со смеху.

Однако после прыжка Фадеева просто так сидеть в лодке мне было неловко. Я собрал всю свою решимость и сыграл «по большому счету», последовал примеру компаньона, несмотря на то что до берега было далековато: такую норму я мог бы и не сдать. Но мой расчет был на лодку, от которой я осмотрительно не отплывал.

После того как мы высадились на берег и уединились на пустынном пляже, блаженно растянувшись на песке под косыми лучами закатного солнца, я, посмеиваясь над собой, рассказывал ему о своих страхах перед прыжком с лодки.

– А я видел, у тебя все на лице было написано, – сказал он, с прищуром поглядывая на небо.

Подтвердив, что по лицу можно прочесть многое, я рассказал ему случай из школьной жизни. В классе расследовался дерзкий проступок – хулиганская надпись на грифельной доске в адрес одного из учителей. Класс знал виновника, но упорно хранил молчание. Увещевания и убеждения всеми любимой классной наставницы Елизаветы Николаевны, что укрывательство виноватого лишено логики, так как класс защищает неблагородного человека, раз он не имеет смелости сознаться, ни к чему не приводили.

Тогда Елизавета Николаевна потребовала, чтобы каждый ученик выходил к доске и произносил, обращаясь к классу, одну фразу:

– Товарищи, это сделал не я!

Уже больше половины участников прошли испытание, у доски, учительница в упор смотрела в лицо говорящего, а виноватый не находился. И вдруг после очередного

«Товарищи, это сделал не я!» Елизавета Николаевна, вспыхнув как маков цвет, воскликнула: «Неправда, Булыга, это сделал ты!» И виновник, расплакавшись, признался.

Фадеев, довольно равнодушно слушая рассказ, встрепнулся и переспросил фамилию ученика. Я повторил. А он вдруг заливисто, по фадеевски рассмеялся. В самом деле, получилось курьезное совпадение. Герой моего рассказа оказался однофамильцем Фадеева, у которого была вторая фамилия Булыга.

И с тех пор, часто встречаясь, мы всегда задавали друг другу шуточный вопрос: «Ну, что ты читаешь на моем лице?»

В ту первую встречу мы залежались на пляже до позднего времени, и он много мне рассказал из пережитого в молодости. Будучи на три года старше меня, он успел повоевать партизаном в лесах на Дальнем Востоке, понюхал порошу в таежных перестрелках и был ранен. Я смотрел на него, как на легендарного героя гражданской войны, и пытал его бесконечными вопросами, дорвавшись, что называется, до живого классика. Кто был прототипом Левинсона? С кого он писал Мечика, Морозко? Насколько автобиографические переживания нашли свое отражение в его творчестве? Изнуренный расспросами, он ответил мне ссылкой на Флобера.

– Ты знаешь, Андрюша, когда досужие читатели допекли старика уточнениями, что автобиографично, а что нет, то на последний вопрос: «С кого он писал образ героини романа „Мадам Бовари“?» – Флобер ответил: «Эмма – это я».

Но сквозь многочисленные детали при первой встрече наиболее отчетливо встает в памяти выражение его лица, когда он, посерьезнев глазами, сказал: «Играть надо всегда по большому счету», разумеется, мысленно вместо глагола «играть» подставляя «жить». Сколько я его знал, он руководствовался этим принципом всегда. Шел по жизни крупными шагами.

Ко мне он относился чрезвычайно дружелюбно. По телефону его голос узнавался безошибочно. Высокого, тенорового звучания, иногда доходящий до взвизгивающего оттенка, фадеевский голос спутать было нельзя. Саша любил песню и молодецкато в компании запевал:

Любо, братцы, любо,
любо, братцы, жить,
с нашим атаманом
не приходится тужить!..

Он все набирал и набирал высоту и в области литературы, и в административной деятельности. По видимому, ему в полную меру было отпущено природой таланта, чтобы так проявиться в триединой своей сущности: современный классик, генеральный секретарь, отзывчивый товарищ.

Какая то грань деятельности вдруг уходила в тень, на все не хватало времени. Однажды, жалуясь именно на эту нехватку, Фадеев рассказал, как его вызвал Андрей Александрович Жданов. Дал понять, да чего там понять, прямо сказал – секретаря, мол, вроде Фадеева мы для Союза писателей всегда найдем, а писателя Фадеева вряд ли, давайте, дескать, Александр Александрович, побольше пописывать, поменьше подписывать. Как сейчас вижу смеющееся лицо Саши и слышу его звонкий смех, сквозь который он, в согласие кивая головой, проталкивает: «А ведь верно... верно!.. – И тут же, сознавая себя должником читателей, показывает мне рукописные листки своего „пожизненного романа“ „Последний из Удэге“ и добавляет: – Дал слово, значит, закончу...»

Однако вернемся в машину, в которой я везу Фадеева в Тарасовку, в тот же день уговорившись с Яншиным о посещении нашей команды в целях оказания моральной, так сказать, поддержки, по теперешнему – обеспечить психологическую подготовку, «Прочти им „Разгром“, – отшучивается на мое внезапное приглашение пойти к ребятам Фадеев, – больше пользы будет».

На застекленную террасу к столу для чаепития уже собрались все возвратившиеся из Москвы дачники. Приезд Фадеева вызвал у дамской части общества радостное оживление, с Лялей и Ольгой у него были самые добрые отношения.

Точно в назначенный час на террасе появился Яншин. Одет как на дипломатический прием: строгий темный костюм, белоснежная рубашка с галстуком.

– Тем более не пойду, – смеясь, говорит Фадеев, с таким, мол, полномочным послом. Я вижу, что Саша не настроен нам сопутствовать, и потому не настаиваю на его посещении команды, тем более что приглашение состоялось экспромтом, а двум маститым всегда тесно представлять одновременно в небольшом коллективе. Однако «Разгром» с пожеланиями ребятам успеха в предстоящей встрече с басками я у него выманил и с собой захватил.

В красный уголок при гостинице стадиона мы вошли, когда все футболисты были уже в сборе. Комната небольшая, вдоль трех стен стояли стулья, на которых расселись ребята, а у четвертой – столик для президиума. На этой же стене висела фотография «Спартак», запечатлевшая команду в звании чемпиона страны, а рядом – таблица результатов текущего чемпионата, в которой прошлогодний чемпион плелся в хвосте, под угрозой вылета. Эта ситуация и побудила призвать «знатных людей» «на ликвидацию прорыва», как тогда говорили в случаях неблагоприятной обстановки. Яншин оказался первым из приглашенных. Когда он, элегантно одетый, в галстучке «бабочкой», сел за столик, то контраст с аудиторией оказался разительным. Ребята сидели в ряд по стенкам на своих стульях. Но как сидели! – кто развалясь, вытянув чуть ли не на середину комнаты ноги, с задранными выше колен тренировочными брюками и наполовину всунутыми в тапочки ступнями, кто в расхристанных рубашках, не прикрывающих живот; кто оседлавши верхом стул и положив подбородок на сложенные поверх спинки руки.

В самом центре занимал позицию Джинал. Был у нас такой недавно приглашенный игрок, сразу заполучивший от ребят это прозвище. Он отличался стяжательством, ленился на поле, оказывался первым у стола, занимал, расталкивая других, лучшее место в кинозале, льстиво ябедничал начальству. Он недолго находился в команде, но к моменту встречи с Яншиным еще не был отчислен и занимал центральное место, вальяжно раскинувшись на стуле и покачивая одной ногой, бесцеремонно закинутой на другую.

Оглядев с иронической благодушной улыбкой на лице сидящих футболистов, гость, приветливо продекламировал свое «Здра а а австуйте» и обратился к хозяевам с просьбой:

– Разрешите снять пиджак?

– Конечно, конечно, – дружно загудели присутствующие, как бы обрадовавшись – свой, мол, человек.

Сняв пиджак и повесив его на спинку стула, Михаил Михайлович, негромко посмеиваясь, стал объяснять свою, вроде бы излишнюю деликатность.

Рассказ свелся к эпизоду во время «застольной» репетиции, проходившей под руководством Владимира Ивановича Немировича Данченко в фойе Художественного театра. Жара стояла душная – «вот как сейчас». Сидящие за столом актеры – Виктор Яковлевич Станицын, Николай Павлович Хмелев, Марк Исаакович Прудкин, Алла Константиновна Тарасова и все остальные, занятые в пьесе, изнемогали от духоты. Открытые окна облегчения не приносили.

Взмокший от жары Виктор Яковлевич Станицын взмолился, обратившись к режиссеру:

– Владимир Иванович, разрешите снять пиджаки?

– Конечно, конечно, снимайте, – сказал маститый старейшина театра, одетый, как всегда, парадно, в костюме, в белой крахмальной рубашке с галстуком.

– Владимир Иванович, а почему вы не снимаете пиджак? – спросил кто то, увидев, что режиссер как был, так и остался при полном параде, в наглухо застегнутом пиджаке.

– А я не так воспитан, чтобы при дамах, в общественном месте раздеваться и сидеть без пиджака!..

Дружный смех и последовавшее движение на стульях свидетельствовали, что Яншин попал в цель. Подтягивались протянутые ноги, засовывались в тапочки голые пятки, принималась приличествующая моменту осанка. Даже Джинал, исподтишка кося на меня глазами (меня он относил к руководству), перестал мотать ногой и вальяжную позу сменил на угодливо внимательную.

В этот раз Яншин много рассказывал случаев о вдохновляющих примерах беззаветного служения искусству из жизни Станиславского и Немировича Данченко.

Известный афоризм Станиславского «театр начинается с гардероба» часто стал употребляться в нашем футбольном быту.

Вернувшись на дачу, за столом на веранде мы проговорили до петухов о театрально футбольных делах. Платон Лесли, человек прямой и откровенный в своих суждениях (он присутствовал на встрече), выговаривал Яншину за нелицеприятную критику игры команды: «Так беспощадно нельзя, Миша! Прямо в лоб!..»

А Яншин в ответ: «Нет, именно только так и лезь! Все по головке гладим – ах, Витя, ах, Алеша, ах, Паша! А ты видел, как они сидели, когда мы вошли? А ты „нельзя, Миша“! Нет, лезь, лезь, лезь! Вспомни, как нас, молодых, Станиславский на репетициях терзал!..»

Разумеется, Яншин был далек от мысли проводить прямые сопоставления между творческим методом воспитания актера и тренировкой футболиста. Разве что обоим нужна хорошая физическая форма и творческая фантазия. Но вот отношение к делу, личная дисциплина, воспитание интеллекта, чувство ответственности за общее дело – звенья одной цепи и для театра и для футбола. Здесь нет мелочей. Это и есть «театр начинается с гардероба», футбол тоже.

Для меня в этом сомнения не было. Приобщение к миру искусства благотворно влияет на психологию спортсмена, даже если речь идет лишь о непосредственном общении с его лучшими представителями.

Вспоминается предметный урок. Приезд нашей команды в Ленинград совпал в очередной раз с гастролями там Художественного театра. Накануне игры, кажется с «Зенитом», Яншин пригласил к себе в номер посидеть. Мы жили в той же гостинице «Астории».

Со мной вместе зашли Иван Филиппов, начальник команды, и футболисты – Владимир Степанов и Георгий Глазков. Ничего предосудительного в таком визите не было: время сна еще не наступило, ничего горячительного на столе не стояло и не предполагалось: хозяин номера, звавший Николая «Станиславским в „Спартаке“, с режимом, да еще накануне матча, шуток, как говорится, позволить не мог.

В гостях у Яншина находился Всеволод Алексеевич Вербицкий, большой артист и известный спортсмен теннисист. Когда злободневная тема из футбольной жизни была перемолота, Яншин попросил Вербицкого что-нибудь почитать. К общему удовлетворению артист согласился без долгих уговоров. «Я вам прочту четвертую главу из „Евгения Онегина“, – усаживаясь поудобнее в кресло, произнес своим баритоном, с чуть улавливаемым французским прононсом Вербицкий. И начал читать всем знакомые со школьной скамьи запомнившиеся строки. Но сколько же в них открылось новых поэтических красок, так ярко живописующих русскую природу, человеческие характеры, быт своего времени. Мы были благодарными слушателями: Всеволод Алексеевич видел это по нашим глазам, ощущал это по затаенной тишине, в которую падала музыка пушкинского стиха, улаждавшего, по видимому, и слух самого исполнителя.

Уже было довольно поздно, когда закончившееся чтение вознаградили дружными аплодисментами, искренними и громкими.

Под вопросительным взглядом Филиппова – пора, мол, завтра играть – я стал подмигивать Степанову и Глазкову на дверь. Вдруг раздался деликатный стук. «Ну, – подумалось, – Николай наводить порядок пришел». На «войдите» Яншина неожиданно зазвучал голос, который никому другому во всем мире принадлежать не мог, голос Василия Ивановича Качалова.

«У вас читают, можно и мне послушать?» Надо знать, с каким уважением к этому несравненному артисту относились в театральном мире от самого маститого режиссера и актера до самых молодых, начинающих, чтобы понять, какое восторженное чувство охватило нас, когда Василий Иванович в пижамном костюме вошел в комнату. В руках он держал книжку.

Все засуетились, наперебой предлагая новому гостю место, Яншин с радушием хозяина, польщенного высоким посещением, усадил его, массивного, барственного, элегантного даже в домашнем одеянии, в кресло, мы об уходе и думать забыли. Василий Иванович с любезностью, никогда ему не изменявшей, лестно отозвался об исполнительском мастерстве Вербицкого – «Я слышу за стеной великолепное чтение! Аплодисменты!» – поблагодарил хозяина за любезное разрешение «развеесть бессонницу в добром обществе», не забыл пожелать и нам, футболистам, успеха в завтрашнем матче – «Заранее поздравляю!» – и тут же, как мне показалось, несколько стесняясь, спросил:

– А вы не будете возражать, если я вам немного почитаю? Не устали?

«Неужели Маяковского?» – мелькнуло у меня в голове (я успел прочитать фамилию поэта на корешке книжки в руках у Василия Ивановича).

Я слышал стихи Маяковского в исполнении автора. Слышал, как их читали Владимир Яхонтов, Сергей Балашов. Не знаю почему, но мне показалось удивительным такое сочетание фамилий: Качалов и Маяковский. Барон, Карено, Штокман, Чацкий и многие другие роли, многократно виденные мною на сцене Художественного театра в исполнении Василия Ивановича, никак не связывались в моем дилетантском представлении со стихами Маяковского.

– Я вам почитаю из Маяковского, – с расстановкой произнес Качалов, обводя нас взглядом, как бы проверяя впечатление. Мне показалось, что и Яншин, и Вербицкий тоже не ожидали такого репертуара.

И мы стали первыми слушателями чудесного качаловского исполнения стихотворений Маяковского. Взыскательный к себе артист «делал пробу на народе», разъяснил Яншин. Кто слышал впоследствии Василия Ивановича со сцены, тот сам знает, как он читал стихи о паспорте; кто не слышал, тем я не смогу рассказать про голос оркестр, сумевший в ту ночь зазвучать во всю звонкую силу поэта; голос, завоживший нас до рассвета накануне серьезной футбольной игры. Копошилась где то мысль о возмездии. Мяч нарушителей заповедей о режиме не милует. В данном случае он сделал исключение. Великое искусство артиста с лихвой восполнило жертву двумя тремя часами сна. Матч мы выиграли. Лучшими игроками были Степанов и Глазков. Меня тренеры тоже хвалили.

Однако вернемся на террасу дачи, где уже при показавшемся из за горизонта солнце Яншин доказывал Платону и Фадееву свои «лзя, лзя, лзя!». Ведь сегодня баски после продолжительных гастролей по СССР возвращаются в Москву. Встреча с ними из области отдаленных предположений переходит во вполне осязаемое ближайшее будущее. Я после безуспешных попыток примирения спорщиков – иногда, мол, «лзя», иногда «нелзя» – отправился спать, понимая, что спор о футболе не чтение Качалова, а безнадёжная затея отыскать синюю птицу.

Баски приехали. Вот они опять сидят за общим столом, накрытым в зале ресторана «Метрополь».

Зная расписание режима дня гостей, я пригласил своих вчерашних собеседников к часу их обеда в «Метрополе». Вместо Лесли присутствует Юрий Карлович. Он басков не видел, и мне приходится каждого ему представлять. В качестве журналиста я уже побывал у гостей в раздевалке, при их первой встрече с «Локомотивом» и «Динамо» в Москве. Но не так то просто вести программу представления испанских футболистов любопытствующему Юрию Карловичу в присутствии Яншина. «Главмех» сам их всех знает, и мы вперебой показываем: «Вот этот огромный и есть Лангара, по фашистским газетам „убитый наповал“ при обороне Барселоны, а рядом с ним сидит Хосе Ирраратори, участник знаменитой атаки республиканцев на Вильярреаль, футболист экстракласса, по манере игры схож со своим

капитаном – Регейрой, прямо в масть с ним, как второй пристяжной к могучему кореннику – Лангаре». «Одним словом – „птица тройка“, совсем по Гоголю», – смеется «голубой Сандро». А Юрий Карлович подхватывает: «Но ведь это испанская, а должна быть русская!»

Если бы только тройка. А вон – Силлаурен. За столом он и на футболиста то не похож: одутловатый, с редующими белесыми волосами, упитанная фигура под мешковатым пиджаком – массажист или администратор. Медлительность в движениях и отрешенность от окружающего во взгляде никак не соотношались с представлением о футболисте, включенном всеми специалистами в состав символической сборной мира после Итальянского чемпионата 1934 года. Между тем на поле он вызывал восхищение зрителей своей игрой, несмотря на внешнюю неповоротливость. Этот толстяк, прямо Пьер Безухов в футбольной форме, практически доказывал неизмеримую стоимость ювелирного технического мастерства и тончайшего тактического мышления, ставящих его в разряд выдающихся мастеров кожаного мяча, несмотря на отсутствие высших атлетических кондиций.

Конечно же, нельзя сказать, что он плохо и мало бегал. Нет, при всей своей полноте Силлаурен был достаточно подвижен. Но «коньком» его была техника, помноженная на тактический расчет. Именно то, что так пленяет зрителя и чем он вызвал всеобщее признание и у наших ценителей футбола.

А вот в дополнение к перечисленным Грегорио Бласко, изящный черноголовый вратарь; светловолосый, быстроногий левый крайний Эмилио Алонсо; хитроумный и ловкий, как наш Сергей Ильин, невысокий правофланговый Горостица; игроки защитных линий Педро Регейро, Луис Эччевария, Рикардо Ауэда – все они в одном разряде по классу игры со своими всемирно прославленными одноклубниками.

Таким образом, не одна тройка взбудоражила умы миллионов почитателей футбола. На первый матч с басками было подано до двух миллионов заявок на билеты. И не удивительно: если говорить языком лошадиников, то весь косяк, поступивший на наши футбольные поля с Пиренейского полуострова, был элитно футбольного отбора. В этом ансамбле не было отстающего исполнителя. Все до единого – от крайних нападающих Субиета и Ларинаги до защитников Мугуэрсо и Арэсу – отвечали высшим нормам международного профессионального футбола.

Вот что сделало Тарасовку эпицентром футбольного сотрясения.

Гости знали, что им в Москве предстоит повторная игра с жаждущим реванша «Динамо», у которого они выиграли первую встречу два один, и, наконец, последний матч со «Спартаком». Воспитанные в гордых испанских традициях, они и в футболе бережно хранили рыцарский дух. Помню, позднее я оказался свидетелем того, как капитан сборной команды Сегарра, получив от партнера пас, в выгодной позиции, не задумываясь, выбил мяч за боковую линию, увидев, что, отбирая у противника мяч, партнер применил резкий прием, повлекший падение и травму соперника. Они и побеждали и проигрывали только в честной спортивной борьбе, в которой главный арбитр – зритель.

Никакое количество предшествующих побед в гостях не сулило с их стороны какого либо послабления в пользу хозяев. Такое не вязалось с их моральным спортивным кодексом. Наоборот, лучший ответ на гостеприимство «не поддавки», оскорбляющие достоинство обеих сторон, а показ зрителю бескомпромиссного, творческого футбола. Так они рассуждали, готовясь к последним встречам. Об этом они говорили тридцать лет спустя во время наших дружеских бесед в Мехико, о чем речь пойдет несколько позднее.

В книге «„Большой футбол“» я писал, ссылаясь на дневниковую запись того времени:

«...Испанцы тоже готовились к реваншу. На первых же минутах игры они обрушили на динамовцев всю мощь и силу своей футбольной машины. Да, именно машины, которая слаженно, четко и планомерно развивала атаки. К тридцатой минуте счет был четыре ноль в пользу испанцев.

Вся наша команда приехала смотреть этот матч. Теперь нам нужно до тонкости изучить все тактические приемы нашего будущего соперника.

Растерянно глядели мы на поле, когда по влажной после дождя траве катилась эта казавшаяся неудержимой лавина испанского нападения и пушечными ударами расстреливала динамовские ворота.

В начале игры – четыре ноль! Да что же это такое?

Динамо́вцы сделали почти невозможное. К началу второй половины игры они сравняли счет. Какое титаническое усилие!

Но у басков остался еще не исчерпанный запас энергии. Лангара, Эчевария и еще раз Лангара заставили динамовцев трижды начать игру с центра поля. «Динамо» проиграло со счетом четыре семь.

Теперь вся надежда была на нас, на «Спартак».

Все флаги были в гости к нам, в Тарасовку. Тренерский совет заседал перманентно. Он перекочевывал с террасы одной дачи на другую. С моей – к Николаю, от Александра – к Петру и обратно, в зависимости от приехавших гостей. А то и просто вдоль футбольного поля или по тенистым аллеям около забора стадиона ходила группа взрослых людей, то таинственно заговорщицки, то со взрывами смеха произносившая странные для уха непосвященного дачника слова, даже пугающие в столь беспокойное время, как тридцать седьмой, – «протаранить оборону», «задушить инсайдов», «перерезать фланги»...

В поисках лучшего тактического плана незаметно летели часы, дни и ночи. Приезжали руководители комсомола во главе с Александром Васильевичем Косаревым. Правда ни в каких тактических разработках он участия не принимал, но был крайне обеспокоен составом команды. Особенную тревогу вызывало место центрального нападающего, на котором у нас в «Спартаке» играл Виктор Семенов, в высшей степени одаренный спортсмен, но со своеобразным характером. То заиграет так, что любо дорого смотреть, то джинал джиналом: встанет и стоит. Однажды пропал со сбора. Накануне игры стали разыскивать. Нашли дома. Он лежал на диване и музицировал в одиночестве – играл на скрипке. Рядом на тумбочке бутылка шампанского и раскрытая книга «Блеск и нищета куртизанок».

– Ты чем занят? – укоризненно воскликнул тренер. – Завтра матч, а ты скрипкой и шампанским развлекаешься!

– А что же, Бусе Гольдштейну¹ можно играть на скрипке, а мне нельзя? – спокойно возразил центральный нападающий. – Не ехать же мне на сбор с инструментом.

Однако в команду его увезли. А прозвище «Буся» за ним в заслугу его артистических наклонностей так пожизненно среди футболистов и осталось.

Зная о неустойчивости игры центрального нападающего, Александр Васильевич и проявлял беспокойство, наезжая в Тарасовку. Футбольной техникой наш скрипач в отличие от скрипичной был вооружен превосходно. Мог на тренировке пробежать через все поле, не опуская мяч на землю, ударяя его только головой. Удар ногой имел смертоносный – бил по мячу, как кувалдой. Мощностью фигуры был под стать Лангаре. Казалось бы, чего еще надо – «какого рожна», возмущались мать и тетя Наташа, высоко ценившие футбольный талант Семенова, когда слышали бесконечные варианты предполагаемого состава на матч с басками.

Но поди угадай, как поведет себя на поле Буся. И тренерский совет без отдыха обсуждал кандидатов. Дело усложнялось тем, что пока создать неприступные заслоны в обороне против Лангары никому не удалось. Оборонительные рубежи нуждались в перестройке.

После многодневных споров все таки пришли если не к единодушному, во всяком случае, к принятому большинством голосов (иначе у нас в команде не делалось) решению – играть в три защитника. Должность центрального из них выпадала на мою долю.

Приехал Лев Абрамович Кассиль. Позволю себе некоторое отступление.

¹ Популярнейший в те годы юный скрипач.

...Было это очень давно. В те времена девушки в соревнованиях, по видимому из нравственных соображений, выступали в широчайших шароварах, на голени – чуть ниже колена, стянутых резинкой и пузырившихся во время бега, словно корабельные паруса. А теннисистки играли в белых юбках длиной до щиколоток, по теперешнему – «макси». Когда же Вера Николаевна Прокофьева, впоследствии заслуженный мастер спорта, прославленный капитан хоккейной команды «Буревестник», впервые появилась на стадионе в коротких трусах, то на первых порах ревнители нравственности восприняли «наглую выходку» как пощечину общественному мнению.

В лихорадке буден того беспокойного радостного времени я и встретил молодого человека, довольно высокого роста, с худым, несколько удлинненным лицом и удивительно пытливым взглядом. Однажды повстречавшись с ним уже нельзя было не узнать его при повторной встрече. Типографской несмываемой краской отпечатывался его облик в памяти.

В последующем, много общаясь с Львом Абрамовичем, мы пытались установить время, место и обстоятельства, при которых произошло наше знакомство, но так и не могли вспомнить. Ведь состоялось оно почти полвека назад.

Он говорил по этому поводу с присущей ему благодушной иронией: «Ну как уж вам запомнить, где и когда познакомились с каким то Кассилем...» Он хорошо понимал юмор, любил шутку и потому, будучи уже маститым писателем, мог отнестись так в свой адрес.

А мне казалось, что я знал его без всякого первого знакомства, всегда, сколько себя помню. Знал с незапамятных юных лет как автора увлекательной и предельно искренней книжки «Швамбрания», как увлеченного романтикой спорта создателя неувядаемого образа дерзновенного «Вратаря республики» – Антона Кандидова. Знал как талантливого спортивного журналиста, глубоко понимающего спорт, со всей его психологической сложностью.

Лев Абрамович был сильный духом человек. Об этом свидетельствуют его творческий оптимизм, характеры его положительных героев, всегда стремящиеся к цели по линии наибольшего сопротивления. Он был сильным духом и в повседневной жизни – на суше, на воде, в воздухе. За многие десятилетия встреч мне довелось путешествовать с ним и в поездах, и на пароходах, и в самолетах.

Помню в 1935 году советская спортивная делегация возвращалась домой из Турции на небольшом суденышке черноморского пассажирского флота. Трофейный пароход первой империалистической войны, называвшийся «Принцесса Дармштадтская», после революции получил новое название «Чичерин».

В составе делегации был и Кассиль, ехавший в качестве специального спортивного корреспондента «Известий».

Стоило выйти из Босфора в открытое море – поднялась сильная качка. Ужин не закончили: чувствуя тошноту, пассажиры побрели из кают компании к своим койкам. К ночи, когда шторм достиг двенадцатибалльной силы, морская болезнь свалила почти всех. Среди самых тяжелых больных был и Лев Абрамович. Когда я зашел в каюту, где размещались журналисты, я увидел его, лежащим навтыжку во всю длину койки, с бледно желтым, отрешенным от всего лицом. С белой повязкой вокруг головы, он показался мне похожим на заболевшего Дон Кихота. За бесстрастным выражением лица угадывались тяжелые, стоически переносящиеся страдания.

Его соседи по каюте Борис Михайлович Чесноков и радиокomentатор Вадим Синявский лежали на своих койках не в лучшем состоянии.

Всегда жизнерадостный Синявский на мой вопрос о самочувствии печально иронически прошептал: «Ты что, не видишь? Мы вне игры...»

А когда наш корабль чуть не развалился пополам от подводного удара, после чего последовала команда капитана: «Все наверх!» – я среди суматошно бегущих на верхнюю палубу пассажиров, суетливо, в панической спешке, на ходу одевавших спасательные круги, как хомуты, через голову, увидел спокойно шествующего Кассиля.

– А что тут такое творится? – невозмутимо глядя на огромные потоки воды, перекачиваемые через верхнюю палубу и заливающие кают компанию, обратился он ко мне.

Высокий, худой, изможденный, обросший за долгие часы бессонных ночей, с олимпийским спокойствием пытавшийся взглядом распознать степень разбушевавшейся в беспросветном мраке стихии, он и впрямь мне представился «рыцарем печального образа», готовым вступить в борьбу с любыми враждебными силами.

А через день в «Известиях» была опубликована телеграмма, полная присущего ему оптимизма, в которой говорилось, что судно сидит на мели, а пассажиры в ожидании спасателей заняты на борту парохода ловлей перепелов...

Кассиль был другом футбола и спорта вообще. Его приезд в Тарасовку был к месту. Расширенный тренерский совет в мученических потугах искал оптимальный состав команды. Футболистов на сборе находилось много. «Спартак» разрешили на эту игру использовать любых игроков из других клубов. Однако исключались те, которые против басков уже сыграли в предыдущих матчах. Поэтому были приглашены динамовцы из Киева – Щегодский и Шиловский, армейцы Калинин и Федотов. В порядке исключения к игре готовился и Петр Теренков из «Локомотива», забивший в первой встрече единственный гол в ворота басков.

Лев Абрамович подоспел как раз к тому времени, когда мы вконец запутались в подборе основного состава. Зашли в тупик, как в свое время с названием общества, и согласились с тем, чтобы состав определить путем тайного голосования с учетом мнения всех игроков.

«Ваше мнение?» – спросил я еще свежего, не утратившего ясности мысли от бесконечного заседания Кассиля, приготовившись выслушать длинный перечень возможных кандидатов на разные места, зная, что нет большего удовольствия для любителя футбола, как обсуждать «основной состав».

Ответ Кассиля и удивил и обрадовал, он был краток и гласил: «Кого угодно, куда угодно, но Федотов на левом краю – обязательно!»

Собранные бюллетени показали удивительное единодушие. Основной состав сложился из кандидатов, собравших подавляющее большинство голосов, во главе с центральным нападающим Бусей. Один голос был подан и за Джинала. Но это он сам проголосовал за себя.

Стартовый состав наш выглядел так – Анатолий Акимов, Виктор Соколов, Андрей Старостин, Александр Старостин, Александр Михайлов («Спартак»), Константин Калинин (ЦДКА), Виктор Шиловский («Динамо», Киев), Владимир Степанов, Виктор Семенов («Спартак»), Константин Щегодский («Динамо», Киев), Григорий Федотов (ЦДКА). На возможную замену предусматривались Петр Теренков («Локомотив»), Станислав Леута, Петр Старостин, Георгий Глазков («Спартак»).

Все организационные дела остались позади. Наступили дни предстартовой лихорадки. На передний край выводили заботы, как говорится, об умиротворении души спортсмена. Снять перенапряжение, спустить лишние пары. Лучшим способом во все времена считалось «лечиться» мячом. И мы до полного изнеможения били и били по воротам. С ходу, с полулета, с лета, с земли и с воздуха. Давно уже взмокли и майки, и трусы, и гетры, смеркается, а тренировка все идет. С интересом, даже с восторгом смотрят на эту футбольную канонаду зрители. А их много. Вон я вижу стоят у обочины Серафим и Георгий Знаменские, тут же Яншин и Кассиль. Вон слез с судейской вышки тренер по волейболу Григорий Берлянд, а рядом с ним его воспитанницы и одноклубники из других видов спорта. Все захвачены предстоящим поединком. Равнодушных нет ни среди волейболистов, ни баскетболистов, ни легкоатлетов. Тогда стадион в Тарасовке объединял дружный коллектив большого спартаковского спорта. Мы знаем – сегодня все с нами. И они знают, что мы ценим такое внимание и потому, можно сказать, идем на рекорд в тренировке.

А посмотреть, право же, есть на что. Григорий Федотов переместился в центр и с подач то Глазкова, справа, то Шиловского, слева, без ошибки вбивает с силой пушечного ядра кожаный снаряд и в верхние, и в нижние углы, кажется, намагниченных ворот, с такой точностью мячи ложатся в намеченную цель. На уровне высшего исполнительского мастерства и его партнеры – Владимир Степанов, Константин Щегодский. Вечером на террасе я вспоминаю первую тренировку басков на стадионе «Динамо», когда их пятерка нападающих с завидной точностью била по воротам Грегорио Бласко. «С оптическим прицелом стреляют», – пошутил тогда Яншин, смотревший на тренировку вместе со мной, сидя на трибунах. Спрашиваю его и Льва Абрамовича:

– Ну, как мы выглядим?

– Кажется, в составе ошибки нет, – отвечают в один голос и Яншин и Кассиль.

– Состав то составом, – говорю я, – а вдруг Барсик?

Яншин вместе со мной от души смеется. А Лев Абрамович недоумевающе смотрит. Я объясняю ему – о суеверии, мол, смех. Вот в чем было дело.

Яншин пригласил меня как то в гости. Он отмечал юбилейную дату выпуска студентов мхатовского училища. Говорил при этом: «Приходите на осетра». Я пришел немного раньше других. Он жил тогда на улице Кирова, на углу Банковского переулка в просторной квартире на восьмом этаже. Стол уже был накрыт. Посредине его красовалось огромное блюдо с заливным осетром, так целиком и приготовленным. Рыбина лежала, будто торпеда, во всю длину посуды. Она со спины отсвечивала темно серой окраской и казалась только что выловленной из реки. Хозяин довольно улыбался, как, дескать, рыбка?! Похвастаться и вправду было чем: на удивление заманчиво выглядело блюдо, как только изловчился повар приготовить такой экземпляр? Стало понятно, почему Яншин так многозначительно приглашал «на осетра».

Вдруг я заметил, что Михаил Михайлович стал меняться в лице, устремив взгляд за мою спину. Я оглянулся и обомлел: сзади у двери стоял Барсик, любимец домработницы Аннушки, громадный рыжий кот, размером больше осетра: пума! Я знал его повадки. Кот мог внезапно взмахнуть на шкаф, а потом спрыгнуть вам на плечо, черт его знает с каким намерением. Выросши в дружбе с собаками, я к кошкам чувствую антипатию, если не сказать больше. Яншин меня уверил, что Барсик на этот вечер будет отправлен Аннушкой в гости к соседке. И вот он в двух шагах стоит и целит на меня зеленым глазом.

– Не трогайте его! – заорал я не своим голосом, изворачиваясь между мебелью, чтобы найти спасение в другой комнате. Однако кот направился следом за мной. А Яншин за котом, который, может быть, и в мыслях не имел преследовать меня. Я прибавил резвости. Барсик тоже: он бежал от хозяина. Возникла цепная реакция на повышение скорости. Я мчался через все четыре сквозные комнаты с быстротой ветра, яростно крича: «Не трогайте его!» Скачками увиливая от погони, напуганный, метался в стороны кот, а за ним расстроенный хозяин. На третьем витке квартиры, когда Яншин чуть было не изловчился ухватить руками «рыжее чудовище», но споткнулся, упал на пороге столовой – кот высоким прыжком взметнулся над обеденным столом и угодил прямо в блюдо с осетром, разметаив рыбину во все стороны.

Именно в этот момент появились Ляля и Аннушка. Барсика Аннушка с жалобными причитаниями унесла на руках к соседке. Блюдо с останками осетра переправили на кухню.

А мы с Яншиным уселись друг против друга и стали безудержно хохотать.

– Вот так то, мастер, не знаешь, где упадешь!..

Раздался звонок. Пришли гости.

Мне казалось, что все гости недвусмысленно поглядывают на стол – «ищут осетра». Хлебосольство Яншина знали все. Раз звал на осетра, значит, будет осетр. «Не ищите, не ищите: осетра не будет, Собакевич съел», – отшучивался Яншин, усаживая гостей за стол.

Вот почему я на удовлетворенный ответ Кассиля и Яншина по поводу состава заметил: а вдруг – Барсик? Осетр то тоже был хорош, а ведь никто не попробовал. И Лангара мне представлялся куда опасней для нашей победы, чем «Собакевич» в доме у Яншина.

Наступил день игры. Июльское солнце заливало Тарасовку. Летний знойный день тянулся неимоверно долго. Но вот, наконец, подкатили несколько интуристовских «Линкольнов», с открытыми кузовами, мощные, быстроходные, со знакомой всей Москве эмблемой на радиаторе – никелированная борзая, вытянутая, как стрела, вперед. Во избежание задержек выехали на сорок пять минут раньше обычного. А может, и потому, что не терпелось, уж больно напряжение было велико.

Прошло сорок лет с того дня. Не заглядывая в записи, я могу почасно воспроизвести его течение. И если говорить о самых памятных днях в спортивной жизни – а ведь они есть у каждого, – то день встречи с басками займет не последнее место в пятерке самых волнующих футбольных воспоминаний, пережитых мною за время от первого до последнего посещения стадиона.

При выезде на основное шоссе черт пронес через дорогу перед Вашим автомобилем чьего то Барсика. Вскоре раздался оглушительный выстрел. У одной из машин лопнула крышка. Чиниться было некогда, и пришлось уплотниться. Жены из открытых машин были пересажены в автобус.

Повернув с 1 й Мещанской улицы (ныне проспект Мира) на Садовую Спасскую, начали тревожиться: в направлении улицы Горького машины вереницей едва двигались. А когда с Садовой Триумфальной сворачивали на улицу Горького, то попали в пробку.

Похоже, что весь город устремился в направлении Петровского парка. Призывы к милиционерам, к водителям – «пропустите нас», «мы спартаковцы», «без нас все равно не начнут» – пользы не приносили, мы двигались черепашьям шагом. Появилась явная угроза опоздать. Ничего другого не оставалось делать, как переодеться в футбольные доспехи прямо в открытых машинах. И мы натягивали гетры, майки, трусы на глазах у самой доброжелательной публики в мире. На нас прямо таки изливалась волна приязни, излучавшаяся из глаз и мальчишек и взрослых, облепивших кругом подножки, буфера трамваев, автобусов. Вздymались вверх руки, улыбались лица пешеходов, плотной нескончаемой лентой двигающихся по тротуарам, парковым аллеям к стадиону «Динамо». В потоке неисчислимых автомобилей всех марок и типов – как неожиданно много их оказалось в Москве! – проплывают, то удаляясь, то вновь сближаясь, друзья, знакомые и незнакомые, – сегодня все наши друзья! Сегодня футбольный всемосковский аврал! – говорят их жесты, подбадривающие нас, лица, улыбки. Меня берет оторопь при одной мысли, что вдруг мы не сумеем оправдать надежды такой массы своих земляков.

Полтора часа мы преодолевали эту вынужденную полосу препятствий, к нашему счастью везде встречая искреннее сочувствие – ребята, мы с вами! – словно кричали нам все встречные.

«Какой тут к черту Барсик, вон из головы всякие суеверия», – думаю я под натиском искренности чувств верящих в нас любителей футбола.

С большими опасениями вышел я на поле. Предстояло впервые играть роль центрального защитника. «На языке театра, – говорил Яншин, – ампула героя любовника меняете на резонера». Действительно, требования резко изменились. Центральный полузащитник – стержневой исполнитель: он и в атаке, и в обороне. Амплитуда действий – все поле. Нередко мне приходилось выходить на линию огня – «к рампе» и поражать цель, действуя на самом переднем крае, во главе атаки. В урожайные сезоны я забивал не меньше голов, чем любой нападающий. Персональной ответственности за какого либо форварда из противоборствующей команды я не нес. Центровая тройка противника находилась под условным надзором всей нашей линии обороны. Центральный полузащитник являлся свободным художником; его творческие возможности не имели ограничений.

Другое дело сегодня – предстояла дуэль один на один с противником, стреляющим без промаха. Условия диктовал Лангара. Захочет – привяжет меня к линии штрафной, заблагорассудится ему уйти в глубину поля – и я за ним.

Подчиненная роль мне совсем непривычна. Юрий Карлович Олеша саркастически резонерствовал в кафе «Националь»: «Я о вас был лучшего мнения: из созидателя становитесь разрушителем!»

Валерий Павлович Чкалов лаконично обронил: «С истребителя на тихоход!» Я чувствовал, что и мне не по вкусу новая должность. Но эту выстраданную тренерским советом на многочисленных заседаниях тактическую перестройку, смысл которой заключался именно в создании нового амплуа так называемого «стоппера», я обязан был воспринять как осознанную необходимость. И я согласился на персональную дуэль с «золотым канониром» мирового чемпионата в Риме.

Вон он стоит напротив меня, разглядываю его, пока капитаны команд Луис Регейро и мой брат Александр обмениваются выпелами. Могучий, на мощных «канунниковских» ногах, с бутусовским торсом. «Ну, – думаю, – что то будет?»

Первая наша стычка произошла на втором этаже, в борьбе за верхний мяч. Из опыта знаю, какое психологическое значение имеет начальный спор, обмен, так сказать, верительными грамотами смелости и решительности. Противник сразу чувствует меру сопротивления. Прояви намек на робость или несобранность в этой пробе сил, то потом выравняться не удастся. Я был в более выгодной позиции и в высоком прыжке отбил мяч головой. Видел при этом, что и Лангара резко двинулся с места, но в последний момент в борьбу не вступил, оценив свою худшую позицию. Значит, выиграла позиция, а не я. Правильность вывода я понял, когда вскоре мы сошлись во второй раз в равной позиции, теперь уже на земле. Мяч катился мне навстречу, но Лангара на скоростном рывке успевал вступить в спор за обладание им. В бескомпромиссной сшибке я почувствовал, что ударился о чугунную надолбу. Не знаю, что ощутил он, но мы оба валялись на газоне, а за мяч уже спорили другие дуэлянты.

Я быстро, так же как и Лангара, вскочил на ноги, почувствовав боль в бедре, но виду не показал, как ни в чем не бывало плассируясь на оборонительном рубеже и присматривая за Исидро, старающимся оторваться от меня в поисках лучшей позиции.

Однако спектакль развивался по законам драматургии, где все действующие лица втягиваются в конфликтные ситуации с нарастающим напряжением. Для басков неожиданно опасным оказался наш левый фланг. Там вдруг всеми цветами радуги заиграл талант Григория Федотова. Вчера еще малоизвестный паренек из подмосковного города Ногинска с каждой минутой все громче утверждал свое имя на пожизненное признание быть первым среди выдающихся игроков в истории нашего футбола.

Свой шедевр он произведет через месяц, когда сборная Каталонии будет пытаться взять у нас реванш за басков на рабочей Антверпенской олимпиаде.

А пока он вызывает «оживление в зале» с многотысячной аудиторией своими обманными движениями на ходу, с мячом в ногах, дезориентируя опытного Ауэду и раз за разом проникая в опасную для ворот гостей зону.

Взрыв аплодисментов раздастся на трибунах. Это Федотов, прорвавшись к линии штрафной под острым углом относительно к линии ворот, с разворотом на сто восемьдесят градусов наносит свой классический удар. Грегорио Бласко в полете «ласточкой» устремился в дальний угол, но не успел коснуться мяча – за вратаря заступилась штанга. «О ля ля!» – слышу я восклицание Лангары.

А мяч уже направлялся в сторону нашей обороны. Развертывалась очередная контратака с участием главных организующих сил испанцев – Регейро, Иррарагори, Силлаурена и стремительно набирающих скорость на флангах Субиеты и Горостицы. Под натиском яростно атакующего противника наша защита гнулась, но не ломалась. В решающий момент в азартных схватках вблизи и внутри штрафной на долю секунды во времени, на сантиметр в пространстве опоздай защитник – и нападающий восторгается. Четко пресекает попытку Горостицы ударить по воротам Виктор Соколов. Стеной на пути Субиеты возникает наш капитан – правый защитник Александр Старостин. Пока молчат пушки «канонира», с напряжением всех сил я веду с ним непримиримый поединок и на

земле и в воздухе. Без ошибки трудится в поте лица Анатолий Акимов. Его «беру» звонко разносится по всему полю, когда он в высоком прыжке ловит мяч, кажется, где то в поднебесье, куда сам Федор Селин головой не дотянулся бы.

Ни секунды простоя у полузащитников Александра Михайлова, при этом он с самого начала игры прихрамывает, и Константина Малинина, потому что их подопечные, Иррарагори и Луис Регейро, челноками снуют вдоль поля. В трудные моменты им на помощь подключается нападающий Владимир Степанов. На эти спасательные броски в глубину своей половины поля он как бы выделяет специальный запас энергии, без ущерба для атакующих действий: у него два сердца. Наверное, с одним не выдержать такой спринтерской беготни.

– Браво, Володя, спасибо! – кричит ему Александр, когда в критическое мгновение он подоспел в защиту и отобрал мяч у замахнувшегося для завершающего удара Регейро. Но где ему услышать благодарность капитана! Володя уже мчится с отвоеванным мячом в ногах туда, вперед, где зарыта победа – к воротам противника, высматривая на ходу, кто из партнеров сумел лучше занять позицию, набрать скорость и принять эстафету контратаки – Виктор Шиловский, Константин Щегодский или Буся.

Не дай бог, если ктонибудь застоялся – загрызет. Он обладает завидной спортивной злостью. Джиналов на поле не терпит и яростно требует от партнеров полной отдачи сил. Но сегодня понукать некого. Вон как Буся мчится по центру, разбрасывая пятки в сторону, они так и сверкают.

В этом калейдоскопе движений, перемещений, перекате волн атак и контратак мяч являлся тончайшим балансиrom, с точностью аптекарских весов отмечающим вклад усилий и умений каждого участника, каждой из сторон в отдельности. Куда же, куда же склонится чаша весов, кто первый откроет счет? Пока на щите ноль ноль.

Вдруг взрыв эмоций сотряс трибуны. Это Григорий Федотов повторил свой маневр, словно еще раз прокрутил ленту видеозаписи. С той же позиции, с таким же разворотом Григорий нанес удар. Опять «ласточкой» порхнул в нижний угол Бласко. И так же не дотянулся до мяча. Решающее слово опять сказала штанга. Но на этот раз она за вратаря не заступилась. За выдающееся мастерство она улыбнулась форварду. Коснувшись ее основания, мяч с силой влетел в сетку ворот. Он отблагодарил Федотова за прилежание на тренировках в ударах по воротам.

Александр, пересекая поле по диагонали, подбежал к левому крайнему нашего нападения и крепко пожал ему руку. Тогда кодекс поведения на поле большей чувствительности не позволял. Трибуны неистовствовали.

Битва вспыхнула с новой силой. Пороха в пороховницах еще было много у обоих соперников. Баски ринулись вперед. После очередной схватки мы с Лангарой вновь валяемся на земле. Навикулин сработал надежно, в паху никаких болей не чувствую. Да и о какой там боли может идти речь в такой вихревой карусели, когда все мельтешит перед глазами, только успевай углядеть, куда делся Лангара.

И все же бывает боль, которую превозмочь нельзя. Еще в самом начале игры, повредив до конца не залеченный коленный сустав, вынужден был покинуть поле Александр Михайлов. На смену ему вышел Станислав Леута. Высококласный, опытный футболист, с ходу вписавшийся в высокий темп соревнования.

Трудностей не убывает. Баски взвинчивают темп. Напряжение игры достигло кульминации. Но мы грудью стоим на защите ворот.

Вдруг гром грянул с ясного неба. Мяч, направленный «высоко далеко» Силлауреном в штрафную площадку, летел к нам. Я без особого труда мог выиграть борьбу вверху: моя позиция предпочтительнее, чем у бегущего вдогонку за мячом Лангары.

– Беру! – услышал я за спиной звонкий сигнал Акимова. По законам игровой дисциплины я обязан уступить: заднему виднее. Я резко меняю решение и не вступаю в активную борьбу. Но и Акимов в последнее мгновение приостановился на выходе из ворот.

Достаточно было секундного замешательства, чтобы Лангара ворвался в штрафную и успел ударом головы направить в оголенные ворота подпрыгнувший после приземления мяч.

«Роковая ошибка!.. „Барсик“!..» – проносились мысли в моей голове, пока я, обескураженный нелепостью свершившегося, плелся на исходную позицию. «Дуэль проиграл», – со щемящим сердцем сокрушался я, мысленно ругая и себя, и Акимова, и Лангару, так счастливо воспользовавшегося нашей оплошностью, отлично понимая, что первопричиной гола был я: отбил сразу мяч и никуда бы Лангара не успел. Ведь в отчете так и написал «Красный спорт»: – «на 27 й минуте Ан. Старостин дает возможность Лангаре забить мяч головой».

Но вот за дело взялся Степанов. Редкий по мастерству исполнения солист устремился в индивидуальный рейс. Такое в играх с басками мы еще не видели. Болгар (так его звали все, а почему, никто не знает) неукротимо мчался вперед, как нож в масло, вторгаясь в зону обороны противника, мимо защитников, не успевающих блокировать или мяч, или форварда, в которого вселился бес неудержимости.

Мяч после его удара летел, как пущенный из катапульты. Бласко пришлось теперь исполнить полет в правый угол. Но его попытка парировать удар успеха не имела, сетка ворот взметнулась шлейфом сзади лежащего вратаря. На трибунах вновь летели в воздух кепки, пиджаки, все, что было в руках.

Второй раз начинал с центра «золотой канонир», и я едва подавлял в себе внутреннее ликование, по опыту зная, что победу следует праздновать только после окончания игры. Мираж победы может рассеяться за секунду до финальной сирены судьи. И вместо «ура» кричи «карау у л» – победа сбежала!

К концу первого тайма так и получилось. Баски разыграли как по нотам классическую комбинацию, закончившуюся неотразимым ударом Иррарагори. Счет стал два два. И винить было некого. Тут же закончился тайм, и мы ушли на перерыв. Трибуны провожали футболистов аплодисментами. Кому они предназначались, нам или баскам, было непонятно.

В раздевалке людно. Несмотря на неудачный конец первого тайма, атмосфера приподнятая. Ни одного укора я не услышал. Квашнин и Николай были озабочены необходимостью перестановки в составе, Повредил голеностоп Александр. Он передал мне капитанскую повязку, коротко сказав: «Смотри, не осрами!» Рука у меня стала тяжелее, как будто к ней привесили гирию. Старший брат был абсолютным авторитетом для игроков. И по мастерству игры, и по опыту. Вместо него на поле выходил Сергей Артемьев, младший из прославленных братьев знаменитой футбольной династии. Малинин из полузащиты перемещался на место Александра правым защитником.

– Все будет в порядке, – подбадривающе хлопнул меня по плечу Александр Васильевич Косарев, понимавший, что творилось у нового капитана в душе перед выходом на заключительный тайм игры из серии встреч с непобедимой на наших полях испанской командой.

Никаких «барсиков». Никаких примет, никаких «к восточным воротам гнать второй тайм к несчастью», «дважды отыгравшейся команде легче», «споткнулся сейчас на правую ногу», – никаких суеверий, присягнул я себе в душе. Судья дал свисток к началу второго тайма.

В ходе я четыре раза следовал традиции, установленной предыдущими капитанами «Спартак» – Николаем и Александром Старостинными, – пожимал руку игроку, забившему гол.

Первый раз Виктору Шиловскому, когда за снос на прорыве Федотова был назначен одиннадцатиметровый, наш правый крайний нападающий смело вызвался исполнить этот ответственный удар и мастерски поразил цель; второй раз – Владимиру Степанову за четвертый гол, который выводил нас на прямую дорогу к победе; затем Константину Щегодскому – за пятый, закреплявший успех; и, наконец, тому же Владимиру Степанову за восклицательный знак, поставленный им в конце знаменательной фразы: «Мы выиграли у команды басков!»

А как же назовешь такой удар, четко удержавшийся в памяти спустя сорок лет. Будто сейчас вижу, как собравшийся в комок, сбитый, коренастый Болгар набрал разбег – был назначен штрафной – и метров с двадцати пяти со всей яростью своей спортивной души нанес удар по мячу. Он как бы выцеливал мяч, изгибая корпус вплоть до того момента, когда круглое ядро влетело под самую крестовину ворот, слева от Бласко.

К этому времени на поле появились на смену уставшим Петр Старостин и Георгий Глазков. Таким образом, понадобилось полтора состава игроков, чтобы уверенно привести спартаковский флагман в гавань назначения под названием «Победа». По бурным волнам футбольного сражения лежал к ней путь в последнем матче с испанскими футболистами в Москве. Паруса в нем крепил всемосковский аврал.

Глава 8

ИСПЫТАНИЕ

После победы над басками наступило блаженное время. Душевное напряжение сменилось ликованием. Куда бы ни появился – поздравления и пожелания дальнейшего преуспевания. Пожалуй, это была самая счастливая пора моей футбольной жизни. Нет, не только футбольной. Ладилось все – на работе, в семье, даже «хвосты» по предмету «финансовое обращение» – я заочно учился в институте Всесоюзного совета – стали казаться короче. Одним словом, жизнь сияла улыбками, и, наверное, душевное состояние, которое переживал я, называется «счастьем».

В самом деле, в тридцать лет, когда всех знакомых считаешь близкими, а всех друзей верными, когда окружен талантливыми людьми, а на жизненном горизонте ни облачка, нельзя после большого спортивного успеха не благодарить судьбу и не ощущать себя счастливым. И я нежился в теплом житейском излучении, как на морском пляже в безоблачный летний день.

– Гриша, да знаешь ли ты сам то, что сотворил вчера? – восторженно говорил я Федотову, когда мы на другой день шли с ним по Петровке фотографироваться для выездных документов. Нам сразу после игры объявили, что на Антверпенскую рабочую олимпиаду, а из Бельгии в Париж на Всемирную выставку поедет «Спартак» в том же составе, в каком команда выступала против басков.

Ему, еще только начинающему молодому футболисту, позволительно было выслушивать любую похвалу. Во первых, потому, что переоценить качество его игры было нельзя. А во вторых, против вируса зазнайства у него от природы был иммунитет. Мне уж приходилось видеть его и на поле, и в раздевалке: скромность в прямой пропорции соотносилась с его футбольным дарованием. В ответ на мои комплименты Григорий только застенчиво улыбался. Как и «профессор» Исаков, он был немногословен.

После фотографирования я должен был встретиться с Яншиным. Он ждал меня в кафе «Метрополь». И я решил сделать ему сюрприз, прийти туда вместе с Федотовым. Увидев нас, артист встал, радушно развел руки в стороны и по яншински – «здра а авствуйте» – приветствовал футболиста.

– Вот вы какой, – не скрывая своего дружелюбного любопытства, приговаривал Яншин, пристально разглядывая севшего против него за столик Григория. Я поспешил другу на выручку. Было видно, что стеснительный по характеру Федотов смущен и всей обстановкой, и деликатным обращением к нему, совсем еще юному футболисту, на «вы» известного актера.

– Едем с Григорием в Париж, – сказал я весело Яншину. – На Елисейских полях встретимся.

Яншин был в восторге. Художественный театр в это же время выезжал на гастроли в Париж. И встреча, по тем временам фантастичная, приобретала черты реальности. Но одно дело собираться поехать, а другое осуществить поездку. Поэтому мы, посмеявшись над

назначенным свиданием, тему разговора перевели с Елисейских полей в Петровский парк, на стадион «Динамо», к событиям вчерашнего дня.

– Скажите, Григорий Иванович, а когда Ауэдо?.. Скажите, Григорий Иванович, а когда Мугуэрс?.. – пытал Яншин юного футболиста, снова переживая все вчерашние экспромты Федотова на поле.

Однако, пожимая на прощание друг другу руки, мы все же сказали: «До встречи в Париже!» Григорий, оставшись со мной один, смущенно признался, что от разговора о футболе за столом устал больше, чем в игре с басками.

Встреча в Париже все же состоялась. Но сначала мы побывали в Бельгии.

В Антверпене «Спартак» в труднейшей борьбе завоевал звание чемпиона рабочей Олимпиады. Полуфинальный матч со сборной Каталонии оставил неизгладимый след в памяти.

На нашем пути к победе теперь вместо басков встали каталонцы. Они были полны решимости взять реванш за своих соотечественников. Антипод Лангары, невысокий, худощавый каталонец, с выжженной на фронте залысиной и острым взглядом подвижника, занял место центрального нападающего. Он не признавал никаких отклонений на своем атакующем пути: мчался вперед к нашим воротам по прямой, не обращая внимания на препятствия. В самом начале игры он успел уложить на землю Малинина, Акимова, Соколова. Не щадя себя, торпедировал противника со всего размаха. Я тоже вскоре испытал на себе удар 65 килограммной массы его тела, помноженной на автомобильную скорость, с которой он мчался на принимаемый мною мяч. Я рухнул навзничь, но и ему пришлось испытать на себе, что такое сила в движении, мы ведь не были толстовцами. Но он не сетовал. Лежа на спине, каталонец делал себе искусственное дыхание, поднимался и бросался в очередную атаку, действуя согласно девизу английских футболистов – «душу – богу, тело – клубу».

Нам было очень трудно удерживать минимальный материальный перевес, который выражался в одном забитом в самом начале игры голе, и вряд ли бы мы его сохранили, но с нами был Федотов.

Из моих дневниковых записей... «Федотов прибежал к штрафной площадке помочь защите в трудную минуту. Вот он отобрал мяч у противника и своей мягкой, стелющейся, неторопливой поначалу, вкрадчивой, волчьей рысью (другого слова не подберу) направляется к чужим воротам.

Он начал рейд, имея впереди девяносто метров тернистого пути, трех противников, не считая вратаря, нескольких преследователей, бросившихся за ним со всех ног и только одного партнера в лице травмированного, прихрамывающего в одиночестве где то возле центрального круга поля Петра Старостина.

В ту минуту, когда разыгрывалась эта классическая футбольная микропьеса, Федотов показал себя великим артистом, глубоко постигшим всю суть любимой роли – центрального нападающего.

Находясь в кольце противников, он понял, что реальной помощи ждать не от кого, разве что от травмированного Петра. Для начала исполнив великолепный финт, Григорий проскользнул мимо первого противника и, прибавив скорость, выиграл пятнадцать метров пространства. Сделав ложный маневр к центру поля, как бы намериваясь сыграть с Петром в передачу, он резко изменил направление, повернул к левому флангу, направив по ложному курсу второго противника, и, набирая предельную скорость, выиграл еще двадцать пять метров. Теперь на него, успевшего уже пересечь среднюю линию поля, с оглядкой, будучи последней опорой обороны, надвигался центральный защитник. Не сбавляя скорости, нападающий опять сменил направление и двинулся к центру поля, будто намереваясь использовать в меру сил поспешавшего за линией атаки прихрамывающего Петра, отлично подыгрывавшего главному исполнителю своими действиями без мяча и показывающего полное понимание намерений солиста: эту футбольную арию пропеть одному до конца.

Дезориентированный «стоппер» на мгновение поверил Федотову и чуть подался к центру. Этого было достаточно, чтобы нападающий резко протолкнул мяч вперед и устремился мимо центрального защитника к цели.

Теперь на пути к ней оставалось одно препятствие – вратарь каталонцев.

Григорий находился в жесточайшем цейтноте: навстречу ему двинулся вратарь, а на пятках сидели преследователи, отчаянно напрягавшие силы, чтобы выбить мяч или сшибить с ног мчавшегося к штрафной площади форварда. Исполнитель главной роли отлично чувствовал обстановку и понимал, что надо делать. Он ни на миг не сбавил скорости, чтобы не дать себя сбить ударом по ногам сзади, потом говорили – «у него четыре глаза: два на затылке», – при этом зорко наблюдая за выбежавшим навстречу вратарем.

В нужную долю секунды, выманив вратаря на критически близкое к себе расстояние, он успел протолкнуть мимо него мяч в направлении ворот и распластался на земле, сбитый одновременно и вратарем и подоспевшими к месту столкновения противниками. Тела сплелись в клубок и нельзя было разобрать, где вратарь, где защитники, где Федотов. А мяч не быстро, но по точно заданному курсу катился в ворота противника. И ничто и никто не могло помешать ему докатиться до цели... Это был футбольный шедевр Федотова».

В Париж мы приехали чемпионами Олимпиады. В столице Франции стояла необычайная жара. Но город был переполнен. Несметное количество иностранных туристов понаехало на Всемирную выставку 37.

Турнир, организованный в связи с проведением выставки, мы тоже выиграли, наши гастролы закончились. «Кончил дело – гуляй смело» – гласит старинная пословица, и в эти парижские дни, накануне отъезда домой, мы забыли о режиме. Мы располагали массой времени и весьма ограниченными финансовыми средствами. Но «презренные» франки не могли сорвать свидания с Яншиным.

Художественный театр давал гастролы в помещении театра на Елисейских полях. Поблизости в гостинице разместились и артисты.

С большинством из них я уже был достаточно близко знаком, чтобы позволить себе, разыскивая Яншина в гостинице, зайти в номер к любому. Пошли с Акимовым, полтора года назад снискавшим здесь на парижском стадионе «Парк де Прэнс» всеевропейскую славу. Обнаружили Яншина в номере у Василия Осиповича Топоркова, любимого мною актера еще со времен отроческого увлечения театром Корша.

Ощущение домашности с первого дня приезда в Париж, наверное, свойственно каждому иностранцу.

Но Яншин с его располагающим протяжным приветствием «Здра а а вствуйте, мастер!», гостеприимный Топорков, лихо набекрень надевший синий берет и озорно – каков, мол, я есть! – подмигивающий себе в зеркало, повстречавшийся нам в тот день на Елисейских полях Фадеев с Ангелиной Осиповной Степановой, Иосиф Моисеевич Раевский, Анатолий Петрович Кторов – все это совсем приближало нас к настроению на родных улицах Москвы. Очень обрадовала меня и встреча с Анатолием Петровичем Кторовым, которого я как артиста знал гораздо раньше, чем познакомился с ним лично. Он всегда представлялся и является по сие время личностью из числа внутренне благородных и внешне элегантных. Вот он идет под руку с супругой Верой Николаевной Поповой, вдохновенной героической актрисой – это все театр моей юности, театр Корша, – радостное чувство высшей уважительности к этой супружеской чете, как всегда, возникает во мне при такой встрече.

Вот он бежит по большому футбольному полю стадиона «Пищевик» (стадиона «Юных пионеров»), одет в спортивную форму: бутсы, синие трусы, темные гетры и белоснежная майка. Не побоюсь сказать, бежит грациозно с мячом в ногах, через все поле, до противоположных ворот, забивает мяч в сетку и, воздев руки к небу, кричит на весь стадион: «Красивый гол забил!»

Он снимался тогда в какой то картине с футбольным эпизодом.

Юрий Карлович Олеша писал о Богемском: «Он сейчас побежит, и все поле побежит за ним, публика, флаги, облака, жизнь!..» Вот таким мне запомнился и Анатолий Петрович. Фильм снимался в 1926 году. Образ не стерся в памяти, наверное, потому, что на сцене он увлекал точно так же, за ним хотелось «бежать» – за его внутренним благородством, за его элегантностью, не изменявшими ему никогда.

Мхатовцы пригласили нас в театр. Мы, группой человек в пять, пошли на «Любовь Яровую», разодетые, по нашим представлениям, в пух и прах. Наши олимпийские чемпионки по легкой атлетике – Мария Шаманова, Зинаида Борисова – в ярких летних платьях. Александр и я в светлых костюмах по погоде. Однако в переполненном фойе нам стало не по себе. Театр оказался заполненным эмигрантской знатью. Фраки и смокинги, декольтированные вечерние туалеты, сверкающие самоцветами серьги, диадемы, колье, броши.

Но всеобщее внимание привлекали не разодетые дамы и господа, а появившиеся в театре советские летчики, совершившие героический перелет из Москвы через Северный полюс в Америку: М. М. Громов, Юмашев и Данилин.

Я видел, как встречали в столице Перу – Лиме американских космонавтов, летавших на Луну. Перуанцы с большим любопытством разглядывали космонавтов, сидевших в открытом автомобиле, не спеша продвигавшемся по улицам города к президентскому дворцу. Шутка сказать – эти люди ходили по Луне! Но в свое время и рекордный перелет экипажа Громова казался непостижимым. И мы, позабыв про несоответствие своих костюмов протоколу, аплодировали своим землякам не менее восторженно, чем перуанцы космонавтам.

Яншин, не будучи занят в спектакле, позаботился о нас, мы устроились в партере, образуя светлый кустик среди темных фраков, визиток и смокингов.

Спектакль шел в напряженной атмосфере. Остроконфликтная пьеса К. А. Тренева бередила старые раны предвзято настроенного зрителя. Наглая реплика секретарши Пановой при эвакуации белых из города в адрес наступающих революционных сил нашла в зрительном зале злобно радостный отклик. Послышались отдельные антисоветские выкрики. Но сила исполнительского мастерства актеров подавила нервное возбуждение публики. Искусство мхатовцев не могло не заставить наслаждаться спектаклем.

Под занавес раздалась дружные аплодисменты. На вызовы, взявшись за руки, вместе с артистами вышел Немирович Данченко. Стоя у самой ramпы, долго раскланивался. Приветствия нарастали: мхатовцы одержали очередную крупную победу над враждебной предвзятостью.

Михаил Михайлович пригласил нас за кулисы. В большом кресле, как на троне, сидел Владимир Иванович. Вокруг толпились еще не разгримировавшиеся артисты. Лицо прославленного руководителя театра с ухоженной седоватой бородой и нафабренными усами излучало благорасположение ко всем окружающим за сделанное доброе дело.

– Владимир Иванович! – выбрав удобный момент, обратился к Немировичу Данченко Яншин. – Нас пришли поздравить москвичи. Он отрекомендовал нас, и мы смущенно, в ответ на рукопожатие старейшины русской сцены проговорили что то поздравительное.

Наше радостное смущение возросло, когда, приветливо улыбаясь, Владимир Иванович сказал:

– Примите и наши театральные поздравления по поводу спортивных успехов, они сродни нашим, – и добавил: – Я не ошибаюсь, ведь это ваша команда победила испанскую?

Яншин тут же дал исчерпывающую справку, не забыв упомянуть, что мы только что стали олимпийскими чемпионами в Антверпене. Разумеется, не к месту было разъяснять, что игры в Бельгии проводились для рабочих спортивных организаций.

В радостном настроении мы возвращались к себе в отель «Кавур». Поздравление Владимира Ивановича наводило на мысль о сопричастности спорта искусству, как бы призывало нас, спортсменов, к творческим устремлениям.

Мы возвращались домой экспрессом «Норд» по маршруту Париж – Негорелое – Москва. Приподнятое настроение не покидало меня весь обратный путь: переживал

впечатления о поездке. Вспоминались совместные прогулки с мхатовцами по Парижу, Лувр, Эйфелева башня, музей восковых фигур, поездка в Версаль, на Монмартр, где всегда ново и всегда интересно. Все это так ярко стояло перед глазами.

Побывали мы с Яншиным и в эмигрантском филиале известного до революции московского ресторана «Мартьяныч» в районе Монпарнаса – «в целях ознакомления с бытом артистической эмиграции», – куда нас сопровождала посольский работник по культуре, милейшая болельщица футбола и театра Н.Натарьева.

Там выступал Александр Николаевич Вертинский, исполнивший для нас специально новинку, в которой, помнится, были такие слова тоскующей по родине супружеской пары: «мы возьмем свою сучечку и друг друга за ручечку и поедем в Буа де Булонь». С неизбежной тоской в голосе он сказал Яншину, подсев потом к нашему столу: «О, с какой радостью я поехал бы в Сокольники».

Но в Париже был известен ответ нашего дипломата на просьбу Вертинского о возвращении в Москву: ваше искусство, Александр Николаевич, нам полезнее за рубежом. Тогда ни он, ни мы не предполагали, что двадцать лет спустя вместе будем встречать Новый год в ресторане ВТО на улице Горького, у «Бороды», и шутливо вспоминать вечер у «Мартьяныча».

Там же под гитару популярный артист Павел Троицкий исполнял свою пародию на Вертинского – «Я знаю, Саша не был в Сингапуре» – и со слезами на глазах расспрашивал нас о своих сподвижниках по искусству В. Я. Хенкине, А. А. Менделевиче, завидуя тому, что они с огромным успехом выступают в «Эрмитаже» и в «Аквариуме». Он замирал при упоминании названий московских улиц – Каретный ряд, Садовая Триумфальная – и, хватаясь за голову руками, повторял: «О, боже мой! О, боже мой!»

Пел и единственный из эстрадных артистов дореволюционного времени, получивший звание «солист его Императорского Величества», Александр Спиридонович Морфесси, грек по происхождению, с белоснежной шевелюрой, розовощекий, с черными бровями «под Станиславского». У него в свое время московские цыгане учились петь цыганские таборные песни и салонные романсы. Здесь же он пел по заказу иностранных туристов, считавших посещение «Мартьяныча» в Париже непременно данью моде. Спев свой коронный романс «Полсо² было влюбляться» и получив за исполнение от английского туриста сувенир, кажется часы, Морфесси со вздохом показал их нам и грустно произнес: «Вот так мы и живем».

Они не скрывали своей ностальгии. Она читалась в их глазах, кричала словами романса «Тоска мне выжгла очи». Мы испытывали к ним чувство сострадания. Они были благодарны нам за понимание их душевного надрыва, свою трудную судьбу они воспринимали как расплату за добровольную ошибку. И пели весь вечер не для иностранных посетителей, а для нас.

Поезд подошел к Берлину. Воспоминания о Париже уступили место реальности. Резкие крики железнодорожных служителей с широкой красной лентой через плечо, коричневые гимнастерки и черные френчи, повязки со свастикой переключили и слух, и зрение на другую волну. Три года назад, будучи проездом в Берлине, направляясь в наше посольство на фешенебельной Унтер ден Линден, я обратил внимание на толпу людей на Вильгельмштрассе. Оказалось, что они ожидали выхода фюрера. Через толпу я увидел маленького человечка с косой челкой и поднятой рукой. Для мирной улицы там было очень много штурмовиков в фашистской форме. Сейчас же на вокзальном перроне людей в форме было больше, чем штатских.

Крикливо суматошная атмосфера перрона Берлинского вокзала чем то претила душе, как раздражает иногда чрезмерно громкая музыка в механическом исполнении, совсем не считающаяся с личностью и настроением слушателя.

² Полсо – зачем, за что (цыган.).

Всего пятнадцать минут остановки. А ведь не изгладились и по сие время. Наверное, потому, что стали ложкой дегтя, омрачившей радужное настроение, не оставлявшее меня всю дорогу от Парижа до Москвы. Куражило, что футбол приобрел такой авторитет. Радовало, что Владимир Иванович Немирович Данченко, режиссер, драматург, искусствовед, человек театра, казалось бы, вне стадиона, и вдруг: «Это вы басков обыграли?»

Футбол, еще до встречи с басками, для меня уже перестал быть только увлекательной забавой, развлечением для себя. Еще дядя Митя, бывало, ворчал в случае плохой игры: «Человек деньги платит, а ты на поле в носу ковыряешь!»

Носу не в носу, думалось мне, а зрителей действительно масса, о них забывать нельзя. В игре с басками мы о зрителях не забывали. Выиграли. Но ведь вот что написал «Красный спорт» на другой день после матча в передовой статье «Выше класс советского футбола».

«Сборная басков сильный противник. С футболистами такого высокого класса нашим командам еще встречаться не приходилось. Пребывание басков в Советском Союзе приносит огромную пользу советскому футболу. Вчерашний выигрыш „Спартак“, а он достаточно убедителен, свидетельствует, что наши команды уже успели усвоить кое что от наших гостей.

Но даже в этом матче, в котором баски понесли первое поражение в Союзе, было видно превосходство гостей в индивидуальной технике. Выход на мяч, точная передача, виртуозная обводка, великолепная техника приема мяча, точные удары из любых положений, техника борьбы за мяч, игра головой, наконец, блестящие удары по воротам – все это надо изучать и кропотливо усваивать.

Повышение индивидуальной техники – основа дальнейшего улучшения класса советского футбола. Индивидуальная техника владения мячом у басков доведена до автоматизма.

Наши футбольные команды обладают прекрасными качествами: волей к победе и спаянностью, хорошими физическими данными игроков, неутомимостью и выносливостью. Эти качества должны быть помножены на технику. Тогда советский футбол неизмеримо поднимет свой класс.

Победа «Спартак» над сборной басков – свидетельство высокого класса советского футбола. Мы с гордостью это отмечаем. Вывод, который мы делаем, заключается в следующем: не почивать на лаврах, а работать над собой и учиться. А учиться надо еще очень многому».

Как будто написано про сегодняшний футбол, после игры, скажем, со сборной Голландии.

Или выдержка из статьи Николая Старостина «Почему мы выиграли?» в том же номере газеты.

«...Определила победу команды – уверенность в своих силах, широта и смелость действий каждого игрока.

Этой уверенностью, приведшей к победе, команда в первую очередь обязана секретарю ЦК ВЛКСМ А. В. Косареву и председателю Комитета по делам физкультуры и спорта И. И. Харченко. Именно они посоветовали команде применить в игре атакующий стиль»...

Это была правда, чистая правда. Александр Васильевич со всей страстью своего пылкого комсомольского сердца говорил, что нужна только победа. А чтобы ее добиться, надо атаковать, мобилизуя свое умение и возможности и даже превышая их...

Все эти рекомендации и отзывы откладывались в сознании, отрезвляли легко хмелеющую от больших успехов голову. В самом деле, басками восторгались все, от мала до велика. Так и говорили – испанские спектакли! И в этом была тоже правда, чистая правда. Гастролеры наглядно показали, что футбол дело творческое, сродни большому искусству. Так я считал и потому, что постоянно об этом слышал от окружающих, и потому, что Яншин и до басков многократно сближал понятия футбол и театр. А тут еще Владимир Иванович – «наши успехи сродни».

– Знаешь, что сказал Станиславский о самовыражении актера? – спросил однажды меня Яншин. И тут же процитировал: – «...я хочу, чтобы наши актеры так же трепетно, жертвенно относились к творчеству, как те комсомольцы на стройке метро». Вместо слова актеры поставьте футболисты – и найдете свое верное самовыражение.

Жертвенное творчество! – вот суть вопроса, настойчиво требовавшего лучшего решения. Возникла аналогия: режиссер и актер, тренер и игрок. Тенденция и в театре и в футболе просматривалась развивающейся в одном направлении: и тут и там на красную строку в афише выходили педагоги. Личность исполнителя притушевывалась. И это несмотря на то, что великие режиссеры Станиславский и Немирович Данченко ставили фигуру артиста во главу угла сценического искусства. Из записи Станиславского в дневнике спектаклей 4 июля 1931 года: «...я почти 50 лет работаю в театре, посвятил всю свою жизнь на то, чтобы главным лицом в искусстве и в театре сделать артиста»...

Ведь вот как рассуждают великие режиссеры. Плохо бедно, а футбольная команда может играть без тренера. А что тренер без команды? Ничто. Пример Персимфанса – оркестра без дирижера был налицо. Так думалось мне, когда разговор заходил о взаимоотношениях тренера и игрока.

Нет, не подумайте, что я ставил тренера ни во что. Я уважительно относился и к Ромму, и к Козлову, но в их времена они и не игнорировали футболистов. Наоборот, и Михаил Давыдович и Михаил Степанович обращались к футболистам только на «вы», называя игрока вне зависимости от возраста по имени и отчеству.

В конечном счете дело даже не в вежливости. Известно, что самым изысканным обращением можно dokonать человека. Вон Иудушка Головлев куда как ласков был на словах со своей маменькой, а доконал ее все таки.

Но Ромм и Козлов не посягали на личность игрока, прислушивались к общественным институтам: тренерскому совету, секции футбола. Они отлично понимали, что взаимоуважительность – необходимое условие для создания оптимального микроклимата в футбольной команде.

В нашей футбольной жизни эта взаимосвязь «тренеры – игроки», как мне казалось, все больше и больше принимала характер диктата первых над вторыми, ограничивающего самовыражение личности футболиста.

Позднее я прочту высказывание известного кинорежиссера А. Роома по этому поводу: «непрекращающиеся поклоны в сторону режиссуры объективно затемняют, снижают значение артиста»...

А пока у меня только возникли сомнения. Уж очень быстрыми шагами утверждал институт тренеров свой неколебимый приоритет над творческой жизнью футболиста.

Эти размышления не мешали мне возвращаться в Москву в лучшем расположении духа. С чувством исполненного долга я шел по перрону Белорусского вокзала. Однако на лицах встречающих родных и друзей я, кроме обычной радости встречи, больше угадал, чем увидел, затаенное беспокойство. Да и вопросы – «У вас все в порядке?», «С вами ничего не случилось?» – настораживали.

Потом все выяснилось. Кто то распустил слух, что спартаковцы якобы намеревались скомпрометировать престиж нашего футбола «неполноценным» выступлением на рабочей Олимпиаде. К этому времени в печати проскочила статья «О насаждении в обществе „Спартак“ буржуазных нравов». Несмотря на вздорность разговоров, было не до шуток.

Из Парижа возвратились Яншин, Фадеев. Мы шли с Яншиным к нам, на Спиридоновку.

– Михаил Михайлович, – озабоченно, нервничая по поводу всякого рода болтовни вокруг команды, спросил я его, – что же это делается, ведь так и «загреметь» можно?

– Что вы, мастер, что вы, уж если нам с вами «загреметь», то дальше ехать некуда!

Подъехали Фадеев и Корнейчук, которых связывала крепкая дружба. Сандро звал тогда еще совсем молодого драматурга Сашко. Невысокого роста, привлекательный с виду воспитанник украинского комсомола имел пылкое сердце и смелый нрав. Я однажды у себя дома был свидетелем, как он с комсомольской непримиримостью «ставил на место»,

вышедшего «из берегов» старшего по возрасту и положению чинушу. И Сашко добился своего, тот извинился.

Когда я за столом завел разговор об оскорбительных для команды толках, Сашко также прямолинейно и без обиняков выговорил мне: «Чего тут хныкать. Клевета слез не боится – она опровергается делом. Вы же в Бельгии выиграли. Продолжайте и дальше так». Сидели мы долго. Я запомнил этот вечер потому, что оптимистическое настроение и Яншина, и Фадеева, и Корнейчука передалось и мне. Прощаясь, Сандро сказал: «Все образуется, делать надо то, во что веришь». Эту истину нетрудно было усвоить.

Когда мы вчетвером, Николай, Александр, Петр и я, по нашей просьбе были приняты Косаревым, так как наши фамилии упоминались в статье относительно «буржуазных нравов» в «Спартаке» как первоисточник вредных направлений, то и он, расхаживая по своему кабинету, говорил: «Не волнуйтесь, разберутся, а вы свое дело делайте: задачи из испанских уроков решайте».

Дельного мы из этих уроков извлекли много. Больше место, чем раньше, в наших тренировках заняли индивидуальные занятия. Я бесконечное множество раз отработывал технические приемы точной перепасовки «с левой – влево, с правой – вправо». Партнером была деревянная стенка. Глазков с завидным упорством осваивал резанный удар с углового. И когда журналисты называли этот удар «сухой лист», якобы изобретенный Диди, они опоздали с этим открытием на двадцать лет. Степанов первым стал разучивать и единственный применял прием мяча на грудь, что впоследствии получило повсеместное распространение. Буся, жонглируя мяч головой, добивался скоростного преодоления пространства. Воздушный дриблинг он довел до совершенства, но только на тренировке. Забить гол, пройдя сквозь строй защитников финтами в воздухе, ему не удавалось. Сделал это Диди в Бразильском чемпионате, но много лет спустя после Бусиных попыток. От первого номера, Акимова, до одиннадцатого, Корнилова, мы все, не щадя сил и времени, решали задачи из испанского учебника.

Это были годы технического и тактического перевооружения спартаковских футболистов. Ведра пота проливались за тренировку. Вознаграждены мы были сторицею в 1938 и 1939 годах. «Спартак» установил рекорд, непобитый по сие время. Два года команда выигрывала и первенство страны и Кубок СССР – дважды подряд дубль.

Именно тогда, во время высшего восхождения «Спартака» по ступенькам популярности, я все больше утвердился во мнении, что футболист сам творец своей судьбы, тренер же – его советчик. И к чести тренеров «Спартака» тех лет, они и не претендовали на диктаторские полномочия. Константин Павлович Квашнин, Владимир Иванович Горохов, Петр Герасимович Попов отлично понимали душу футболиста. Они были требовательны к соблюдению дисциплины и терпимы к мнению игрока. Подотчетность тренерскому совету они рассматривали не как усечение своих прав, а как осознанную необходимость для приближения к истине.

Самый демократический принцип лежал в основе руководства футбольным коллективом. Поди, попробуй, пофордыбачь, как говорил дядя Митя, на тренерском совете при обсуждении плана игры или утверждении состава. Здесь были свои Мараты и сен жюсты, дантоны и Робеспьеры. Никаких поблажек ни игроку, ни тренеру, ни брату, ни свату. Только коллегиально и объективно.

Конечно же, болтовню и всяческие басни о «буржуазных нравах» как ветром сдуло. Дело оказалось сильнее слов. В «Известиях» было извещение: «Дело братьев Старостиных прекращено».

Разбирательство вели принципиальные и объективные работники прокуратуры Андрей Андреевич Воронов и Лев Романович Шейнин, и им не стоило большого труда разглядеть наносное и отделить плеведа от зерна. Бомба, как говорится, не взорвалась.

Впоследствии я встречался со Львом Романовичем и на его квартире в Москве, и на даче в Красной Пахре, слушал его занимательные рассказы на тему знатоков, а он обычно шутливо приговаривал: «Конечно, в футболе страсти посильнее бушуют!...»

Действительно, сильные неприятности иногда преподносит футбол. Дернула меня однажды нелегкая пригласить на футбол и Марка Наумовича Бернеса. О замечательном артисте я знал еще до знакомства с ним. Однажды Арнольд, зайдя ко мне на Спиридоновку, беспрекословно заявил: «Был я сейчас на просмотре нового кинофильма, поет там молодой артист песню, которую завтра весь народ петь будет». Как в воду он глядел. Песню «Тучи над городом встали» запели все.

Сблизились мы с Марком сразу: Юрий Карлович нас познакомил. В футболе он не был искушен. Я и соблазнился, наверное, бес честолубия попутал. Ты, дескать, знаменитым артистом стал. Но и мы не лыком шиты. Я уже сборную выводил как капитан. Дважды дубль под моим капитанством команда выиграла. А играла как раз сборная тренировочный матч. Готовились мы к зарубежной встрече. Назначен был новый тренер. Словом, пригласил я Бернеса на матч, а вместе с ним и Яншина, Олешу, Арнольда. Они согласились, и мы поехали на «Динамо». Усадил я гостей на трибуну и пошел в раздевалку.

Все ребята в сборе. Весело здороваюсь. В сборную собирались как в родной клуб, друг друга годами знали. Входит тренер. Деловито, сухо роняет: «Здравствуйте, товарищи!» На меня, да и на других, никакого внимания. На лице наставника выписана сосредоточенная озабоченность – вчера только назначен. Я (это постыдство меня потом в особенности угнетало, сейчас краснею) стараюсь попасть ему на глаза; ноль внимания. Объявляет состав, и я чувствую, как начинает пылать мое лицо: моя фамилия не называется. «Ослышался?» – мелькает в голове. Но неумолимо звучит: «Капитан команды (на мгновение замираю) – Сергей Ильин».

Достойный капитан, ничего не скажешь, мы с ним нога в ногу прошли несколько лет в составе сборной команды. Но тренер меня даже и в запасных не назвал. Как будто и не было такого игрока десять лет в сборной команде! Как будто вообще меня и в раздевалке нет. И ребятам неловко. Я вижу, с каким состраданием взглянул на меня Григорий Федотов. Какой стыд! Зачем же он вызвал меня? Почему хоть словом не обмолвился в мой адрес? Удар был прямой, в подбородок, как говорят боксеры, уложивший меня от неожиданности навзничь. Я с трудом соображал, как сохранить достоинство. Неизмеримую тяжесть оскорбительной неловкости я чувствовал на своих плечах, когда двинулся к выходу из раздевалки.

Самое же унижительное впереди: что я скажу приглашенным? Ведь сколько я разъяснял Марку свое новое амплуа, щеголяя модными футбольными терминами, вроде «стоппер» и даже «полицейский», как назывался в Англии центральный защитник. Одним словом, я ушел в раздевалку искать триумф, возвращаясь поверженным. Меня на мгновение посетила малодушная мысль – сбежать, настолько стыдно мне было появляться перед ними и вообще перед публикой. «Не поставили» – самое неприятное для футболиста слово. Оно по комариному назойливо и нудно звенело в голове, угнетая сознание. Я даже несколько раз вслух его произнес, проверяя, как оно прозвучит: «не поставили», «не поставили»... Получалось фальшиво, потому что скрыть смущение, замаскироваться равнодушием не хватало сил. Морально я был выбит из седла. «Ну, хотя бы одно слово сказал, предупредил, дал бы какое то обоснование, было бы не так оскорбительно», – горько рассуждал я, направляясь все же на трибуну.

Но мои спутники были куда деликатнее тренера. Только на мгновение проскользнуло недоумение в их вопросительном взгляде, когда я пробирался к ним на трибуне. А потом помогающие полувопросы, полуутверждения: «Что, отдыхаешь сегодня? Ну, и правильно!»

О дружеская теплота и сочувствие, они неоценимы! Матч я досмотрел до конца. Клял внутренне себя, но ничего не мог поделать – болел за противника сборной, за иногородний клуб, который – гадко самому себе признаться – к моему удовлетворению, встречу выиграл.

На обратном пути Марк, улыбаясь своей заговорщицки лукавой и потому удивительно доброй улыбкой, говорил: «Я тебя понимаю, это как у нас в кино, когда на пробу не пройдешь. Но ты еще свое сыграешь».

А дома жена, заметив мое мрачное настроение, с беспокойством спросила:

– Что с тобой, на тебе лица нет? Опять неприятности: написали чтонибудь?

– Не поставили, – наконец через усилие наказал я себя искренностью признания, как бы очищаясь от недостойной спортсмена необъективности.

– Не поставили? – удивленно переспросила Ольга. – Ну и что, в следующий раз поставят, а тренера уберут.

Пророчества Марка и Ольги сбылись. Тренера быстро освободили. Мы удачно съездили в Болгарию. Победы в Софии над «Славией» и сборной Софии с крупным счетом стали материальным подтверждением того, что из испанских уроков выводы были сделаны верные. Система игры «в три защитника» надолго утвердилась как в нашем, так и еще раньше в мировом футболе.

Оттуда же из Болгарии мы привезли тягостное впечатление о событиях, происходящих в мире. В стране правил царь Борис. Порядки были царские, профашистские. Гитлер оккупировал всю среднюю Европу. Германская фирма «УФА» демонстрировала вторжение фашизированного рейха во Францию. Мы смотрели эти кадры хроники войны в Европе, и больно сжималось сердце, когда на экране мерным топотом вышагивала германская пехота, обтекая Триумфальную арку на площади Этуаль, и бесконечной колонной двигалась по Елисейским полям. Мимо здания, где совсем недавно гастролировал Художественный театр, мимо знакомых мест, где мы прогуливались с Фадеевым, Яншиным, Топорковым. На экране сменялись картины торжествующего наступления фашизма. Его черная туча заволакивала горизонт, и в сознании откладывались беспокойные мысли о приближающейся грозе и к нашему дому. Уж больно ликовал Гитлер на нюрнбергских парадах, демонстрируя свою фашистско партийную и военную мощь, уж больно фанфаронски паясничал в открытой машине, разъезжая по Берлину среди ослепленных победами в Европе сограждан, бурно приветствовавших новоявленного мессию, опьяненного безграничной властью. Весь этот политический маскарад предвещал недоброе.

И вот мы сидим за ужином в ресторане ленинградской гостиницы «Астория». За столом – Марк Бернес. У меня завтра очередной матч на первенство страны. У Марка свои заботы – предстоящие концерты, киносьемки. Разговор идет на самые мирные темы, о лидерах чемпионата, о литературных и театральных новостях. В беседе постоянно всплывает тема о прохождении территориальных военизированных сборов. Ее поднимают знакомые работники творческих цехов, подсаживающиеся к нашему столу. Они только что со стрелкового полигона, полны впечатлений о повысившихся требованиях в боевой подготовке. Я еще шучу: «Вот бы вас на выучку к Суворову». – «К фельдмаршалу неплохо бы», – соглашаются они, не зная, что у меня свой фельдмаршал из Московской пролетарской стрелковой дивизии, которого я всегда с благодарностью вспоминаю.

Через несколько часов грянет война, но нам настолько не приходит такое в голову, что, расставаясь, назначаем свидание в Москве на ближайшие дни.

А в шесть часов утра меня разбудил телефонный звонок, в самом звуке которого инстинктивно предугадываешь беду. Есть такие телефонные вызовы.

Звонил мой школьный друг Сергей Ламакин, начальник гражданской противовоздушной обороны Ленинграда. Мы долгие годы тесно общаемся и семьями, и в спорте. Он игрок сборной Ленинграда в футбол и в хоккей. Что такое режим в день игры, знает – не зря звонит.

– Вставай, война! Игры не будет. Я на казарменном положении, – лаконично отпартовал Сергей и положил трубку. А я так и остался сидеть с трубкой в руке, потрясенный ошеломляющей новостью.

В двенадцать часов дня мы на стадионе имени Ленина слушали выступление В. М. Молотова. Навсегда запомнилась последняя фраза: «Враг будет разбит – победа будет за нами!»

Ни о каком футболе в этот день, разумеется, не могло быть и речи. С вечерним поездом наша команда отправилась в Москву, наблюдая в окна вагона, как под утро к станциям потянулись цепочки первых призывников из окрестных деревень.

Столица с первых дней войны резко изменила свой облик. Зеркальные витрины магазинов по улице Горького были забаррикадированы мешками с землей. Крестообразными линиями заклеены окна жилых домов и нежилых помещений. Широкие пространства мостовых, площадей декоративно расписаны самыми разнообразными пейзажами, ландшафтами, дезориентирующими фашистских наблюдателей с неба.

Вскоре по улицам Москвы, как гигантских слонов, стали водить на привязи аэростаты. Они поднимались вверх и висели над городом, на разной высоте, создавая воздушный заслон против вражеских самолетов.

Мирная жизнь осталась позади. Озабоченность, серьезность легла на лица людей.

Фабрика, где я был директором, стала военизированным объектом. Производство ботс, легкоатлетических туфель и другого спортивного инвентаря и туристического снаряжения уступило место изготовлению противогазов. Как начальнику объекта мне пришлось перейти на казарменное положение. Запомнилась из тех лет такая картина: дело к вечеру, я возвращаюсь на работу, при выходе с улицы 25 октября на Красную площадь мне навстречу марширует батальон. Его ведет молодой командир, лихо заломивший пилотку, широкоплечий здоровяк, уверенно шагающий впереди колонны, как бы отбивающий такт вдохновенно звучащей песне, которую впервые слышали приостанавливающиеся прохожие. Красноармейцы пели ее от всей души. Слова песни брали за сердце: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война». Слезы подступали к глазам у людей, глядевших на этих ладных молодцов, с таким девизом следовавших на фронт. Вера в правоту дела, в то, что «победа будет за нами», читалась на лицах москвичей.

Приехал из Минска Михаил Михайлович Тарханов. Война застала Художественный театр в столице Белоруссии. Ходили самые разнообразные слухи о трудностях возвращения труппы с гастролей в Москву. Красок и умения рассказать о пережитом в лицах народному артисту не занимать стать. И Михаил Михайлович, не утаивая испытанного страха, показывал, и как лежал в канаве под бомбежкой, уткнувшись лицом в тину, выставив мягкую часть тела на обозрение фашистским летчикам – «пусть по моему тылу стреляют, а может, испугаются!» – и как их машина едва успела проскочить мимо стены многоэтажного дома, рухнувшей за ними через секунду от взрыва бомбы.

– Михаил Михайлович, – пытали мы его поочередно, то Фадеев, то я, встретившись в обеденное время в «Жургазе», – а как остальные доберутся, такие страсти на пути?

– Доберутся все, народ поможет! – сказал Михаил Михайлович с такой твердой убежденностью и верой, что у нас спокойнее стало на душе.

После обеда пошли с Фадеевым ко мне. Заштормили окна и сели к столу «поговорить за жизнь» за бутылкой «Тархуна». Такое название имело ходовое вино зеленого цвета в начале войны. Саша не преминул звонко рассмеяться, что то сострив по поводу «зеленого змия».

Однако беседу нашу прервали какие то глухие удары, доносившиеся с улицы. Мы настороженно прислушались. Выключили электричество и выглянули в окно. Темное небо местами довольно ярко освещалось висевшими в небе желтыми, как нам показалось, лампами. В перекрестных лучах прожекторов поблескивали вражеские самолеты. Фашисты бомбили Москву. Гитлеровцы приурочили этот налет к месячной дате своего вероломного нападения. Трассирующие следы обстрела исчертили темные участки неба яркими пунктирными линиями. Разрывы наших зенитных снарядов дополняли феерическую панораму. С четвертого этажа были видны зарева занимавшихся пожаров в разных концах города. Мы замерли, многозначительно переглянувшись с Фадеевым. Нас одновременно поразила одна и та же, болью отозвавшаяся в сердце, мысль – немцы бомбят Москву!

Вдруг наш двор озарился фантастическим, неестественным белым светом, в котором какой то неживой показалась вся знакомая обстановка – двери подъездов, клумбы, деревья.

И тут же появилась привычная для жильцов фигура Пахомыча, как дружественно звало все взрослое население нашего дома, почтенных лет дворника.

Пахомыч бежал, быстро семена полусогнутыми в коленях ногами, таща перед собой фанерный щит и ведро с песком. Мы поняли, во двор упала «зажигалка», и Пахомыч,

небольшой старичок, по деревенской привычке ходивший летом в валенках, отважно кинулся засыпать бомбу песком. Ловко орудуя лопаткой, он быстро расправился с ней и ликвидировал опасность пожара.

Пахомыча давно уже скрыл наступивший мрак, а Фадеев все не мог успокоиться, взволнованный бесстрашной деловитостью старого дворника. Ведь о зажигательных бомбах, об их огневой силе столько было разговоров!

– Вот так Пахомыч! – не переставал восхищаться Сандро. – Да разве с таким народом пропадешь! – И все повторял слова Михаила Михайловича Тарханова: «народ поможет!»

Вся труппа МХАТа в полном составе вернулась из Минска. На даче, в заметно опустевшей Тарасовке, Яншин рассказывал о трудностях, пережитых артистами на дорогах войны от Белоруссии до Москвы. Восхищенно говорил об интендантских способностях Ивана Михайловича Москвина, вдруг обнаружившихся у народного артиста в тяжелые дни эвакуации из Минска: «Он всех нас просто заражал своим деятельным оптимизмом, словно родился распорядительным генерал квартирмейстером».

Невеселые рассказы очевидцев первых дней войны, как это ни странно, действовали ободряюще. Из под самого фронтового огня все вернулись живыми и здоровыми. Тревога из за событий на фронте не покидала сознание, но уныния не было и в помине. Мы даже сумели выехать в прифронтовую летную часть сыграть товарищескую игру в футбол.

Однако бомбежки Москвы все учащались. К осени грозовые тучи войны сгустились над столицей. В критически трудный момент середины октября эвакуировались театры. Тарасовская дача опустела. Уехали Яншин и Лесли с семьями. В кафе «Националь» уже не шли «на Олешу»: он находился где то в Средней Азии. На востоке работал с цирком Арнольд. Фронтовые заботы поглотили Фадеева, занятого в Совинформбюро. Все более неутешительные сведения поступали с переднего края. Шестнадцатого октября Москва была объявлена на осадном положении. Москвичи еще более посерьезнели и внутренне напряглись. Но тархановское «народ поможет» накрепко засело у меня в голове. Мысль об эвакуации из Москвы не укладывалась в голове, хотя «пикап» с бочкой бензина согласно инструкции для начальников военизированных объектов на случай отступления с армией стоял у ворот фабрики. В это напряженное время футбол отошел в самую глубинку моей души.

Москва выстояла. Фашисты откатились, с тем чтобы уже никогда не вернуться на оставленные рубежи. Начался процесс восстановления превосходства моральных и материальных сил народа и его армии.

А весной 1942 года шальная «фугаска» упала не по адресу. Бывают такие случайности во время войны, когда снаряды ложатся по своим. Взрывная волна огромной силы разбросала нас кого куда: Николая в Комсомольск, Александра в Воркуту, Петра в Соликамск, меня в Норильск.

Столица Таймыра, так условно я назвал бы этот город, еще ждет своего летописца. Он бесспорно появится и напишет, как наперекор стихии, у семидесятой параллели, среди пустынной тундры, на вечной мерзлоте вырос современный город, с многоэтажными домами, комфортабельными квартирами для трудящихся крупнейшего металлургического комбината, гостиницами, театрами, современными спортивными сооружениями и производственными корпусами самого разнообразного профиля.

Одним словом, побывайте, скажем, в районе московского «Сокола» и посмотрите на семи восьмиэтажные дома, и получите представление о сегодняшнем Норильске, только без зеленых насаждений: на улицах Норильска пока деревьев нет.

Так сейчас.

А когда я туда следовал на теплоходе «Серго Орджоникидзе», то слышал о поселке на семидесятой параллели от бывавших в Заполярье людей отзывы самые разнообразные и разноречивые. Черная пурга, во время которой ходить можно, только держась за веревку, чтобы не потерять ориентира; шестидесятиградусные морозы; многомесячная тьма –

«двенадцать месяцев зима, остальное лето» – и другие страсти мордасти про затерявшийся в заснеженной тундре поселок «на краю света».

В противовес им бывалые на Севере люди развенчивали жупел о Норильске: ничего, мол, страшного нет.

С полным знанием климата и быта строящегося города поведали мне о нем Евгений Иванович Рябчиков и Арий Иосифович Поляков. Оба они, норильские аборигены, приехавшие в командировку в Красноярск, очень кратко и точно определили: трудно, но для настоящего мужчины вполне терпимо. Я не преминул уточнить: «А для настоящей женщины?» – «Поезжайте и убедитесь на месте», – порекомендовал Евгений Иванович.

Он действительно хорошо знал Норильск. Уже тогда журналист с именем, Рябчиков работал в местной газете «За металлы», освещая все стороны жизни строительства и эксплуатации заполярных объектов, жилья и производства. Разумеется, физическая культура и спорт не проходили мимо его поразительно любознательной и удивительно деятельной натуры. Позже он вложил много своей неумолимой энергии в создание специальной спортивной газеты «Заполярный динамовец». Помню его первую статью об открытии в Норильске хоккейного сезона на местном катке: «Первая борозда на льду». Она была полна торжествующего пафоса. И верна по своей тональности, по тому, как высоко ценила трудовой энтузиазм норильчан, в борьбе со стихией не жалевших сил, сооружая катки, стадионы, спортивные залы, лыжные базы.

Убежденность, с которой мой друг мастер спорта по альпинизму Арик Поляков, норильчанин, как и Евгений Иванович, с первых дней строительства комбината разделял точку зрения о терпимости Заполярья для настоящего мужчины, рассеяла сомнения.

Я имел возможность задержаться на работе в Красноярске. Но романтическая струнка, не чуждая моему характеру, и, конечно, вера в то, что я оправдаю норму настоящего мужчины в любых условиях, подсказали мне держать курс на север.

Шесть суток я продвигался к низовьям Енисея, минуя Енисейск, Верхне Имбатское, Подкаменную Тунгуску, Туруханск, Курейку, Подтесово, Игарку – главные остановки навигационного пути по Енисею. Насколько это все безмасштабно воспринимается при взгляде на географическую карту в домашнем уюте, сидя в удобном кресле в ожидании начала очередного телеспектакля на голубом экране, настолько поразительно величественно – и водный простор быстротечного Енисея, и бескрайность его скалистых, таежных, то ровных в линейку, то в излучинах, берегов, – когда все это познаешь, как говорят на телестудиях, «живьем».

А вот обнажилась во всей своей извечной битве за жизнь таежная охота меньшого брата – зверья – друг за другом.

На бешеном скаку к крутому берегу из лесу вымахал сохатый: крупный, палевого оттенка по окраске таежный красавец. А в бок ему вцепилась большая таежная кошка. Только когда лось, распластавшись в воздухе, кинулся в воду, рысь в последнее мгновение предпочла сушу, отвалилась от жертвы у самой кромки берега. Вода вокруг животного покраснела.

А пароход все плыл и плыл. И когда уже стало казаться, что путешествию не будет конца, мы добрались до Дудинки. И через несколько дней я в тряском, грохочущем, как веялка, узкоколейном вагоне прибыл в Норильск, расположенный от Дудинки в девяноста километрах.

По времени вторая половина ноября – для полярной ночи самая пора, морозам тоже наступили сроки, а про пургу и говорить нечего: ей всегда зеленая улица.

Но что за диво? Я чуть было не разочаровался. На дворе никакой полярной ночи нет. Есть московские сумерки. Во всяком случае, силуэты зданий, людей просматриваются на значительное расстояние именно как в сумерки. Да и мороз на уровне среднего московского: восемь десять градусов. А ветра и в помине нет. Будь в Норильске деревья – ветка не шелохнулась бы. О, обман неопытной души!

В горячем желании оправдать приказ, подписанный начальником комбината, генералом Панюковым Александром Алексеевичем, любившим спорт и ценившим физическую культуру, в условиях Заполярья в особенности, об организации в Норильске местного совета общества «Динамо» и назначении меня начальником оборонно спортивного отдела, я «засучил рукава» телогрейки, обычного наряда многих норильчан в хорошую погоду, и приступил к исполнению обязанностей. Футбол и хоккей вновь вернулись на свои рубежи, разумеется, на уровне дальнего севера.

Со мной в паре, в ногу и в том же рабочем ритме, шагал Павел Павлович Тикстон. Старинный друг, еще со времен зарождения футбола на Красной Пресне, мой одноклубник и соратник по игре в одной и той же команде.

Первое дело – заливка катка. Практических знаний у нас мало, но упорства хватит на целую бригаду. А так как никакой бригады нет, все заняты на производстве: фронт не ждет, ему нужен не каток, а металл, то мы с Тикстоном вдвоем на футбольном поле стоим с пожарными шлангами и извергаем из брандспойтов неизмеримое количество кубометров воды. Нам надо растопить выпавший на полметра снег и создать вместо этого затвердевшего снежного покрова ледяное зеркало на всем пространстве футбольного поля. Задача усложнялась тем, что перепад наклона грунта поля, от ворот до ворот, составлял полтора метра. Когда капитаны выбирали сторону при начале игры, то так и говорили судье: «мы в гору» или «с горы». Теплая относительно снега вода буравила в нем проемы и неудержимо устремлялась вниз, пока не замерзала на морозе в причудливой форме. Дело казалось безнадежным. Но я уже сказал о нашем упорстве – его хватило, чтобы одержать победу. Нам удалось растопить снег, относительно выровнять площадку и создать ледовую поверхность, вполне пригодную для катания на коньках.

Для этого нам с Павлом понадобилось трое суток непрерывной поливки, с небольшой посменной передышкой, когда один из нас шел в барак оттаять и немного отдохнуть.

Павел остался налаживать освещение, а я отправился в тундру. Считанные часы оставались до назначенного открытия зимнего спортивного праздника.

Я не послушал разумных советов надеть сверх телогрейки бушлат, даже не опустил у шапки наушники. Молодецки заломив меховую ушанку набекрень, я прыгнул в розвальни. Мой напарник, Володя, молодой паренек, тоже из москвичей, приехавший в Норильск по комсомольскому набору, шлепнул вожжами по крупу лошади, и мы отправились на Валек. Норильчане знают эту местность, расположенную на ближнем берегу Норилки, где произрастает хвойно лиственный лесок.

Мы закончили порубку чахленьких елочек, карманных размеров, нагрузили полные сани и стали выбираться на открытую дорогу, ведущую через тундру к дому.

Вдруг задул ветер, нараставший в силе с каждой секундой. Не прошло двух минут, как я, приостановившись, чтобы развязать тесемки, как назло, завязанные узлом, наушников – не догадался, осел, завязать бантиком, – мысленно обругал я себя, испуганно закричал:

– Володя! – Испуг был вызван неистовой силы порывом обжигающего ветра, гнавшим со скоростью тридцати метров в секунду снежную мгу, почти до нуля ограничивавшую видимость.

– Володя!!! – истошно заголосил я вновь. С заползающим в душу страхом я подумал, что назревает катастрофическое положение. Холод уже проник через ватную телогрейку. Опаленное лицо и застуженные во время возни с шапкой руки я укрыл, повернувшись спиной по направлению неистовствовавшей пурги.

– Володя!!! – отчаянно прокричал я в третий раз, понимая, что попытка отыскать его безнадежна и что стоять на месте бездейственно – погибнуть.

Я развернулся на сто восемьдесят градусов и пошел навстречу пурге. Согнувшись в три погибели, я вел наступление, сознавая, что это единственный шанс на спасение. Потoki воздуха, гнавшие снежную завесу, неслись с противоположной Вальку стороны города, от горы Шмитихи, и это было моим незримым компасом. Как важно было не сбиться с курса! Я

уже не ощущал конечностей, онемели колени, и силы заметно поубавились. Пурга сбивала дыхание, и я все чаще делал остановки, разворачиваясь к ветру спиной.

Я отчетливо понимал, что стою на краю гибели, вот здесь в тундре стихия сводила счеты с неосторожными, с неуважающими ее силу. И не менее ясно сознавал – только движение, только вперед, только лобовое наступление!

И когда почти обессиленный от ветра и холода я с отчаянием подумал: «Да в том ли направлении продвигаюсь?» – вдруг впереди мелькнул спасительный огонек, сразу удвоивший мои силы.

Павел Павлович взволновался появлением без меня полуживого Володи, которого лошадь по чутью довезла до стадиона. Он успокоился лишь после того, как я ввалился в балок, окостеневший от холода, и с присущим ему английским юмором, чтобы снять драматическое напряжение, задал мне иронический вопрос: «Сэр, а почему вы отправились в тундру не в лаковых ботинках?» – и усиленно стал оттирать спиртом мои отмороженные руки и ноги.

Мне было не до юмора: конечности под воздействием лечебных мер Тикстона огнем палило. Физиономия моя была разукрашена красными полосами, как лицо вождя индейского племени. Утешением был исполненный долг – елки были доставлены к месту назначения. Я мысленно записал себе первый балл в зачетный билет по сдаче норм на звание настоящего мужчины.

Вскоре состоялся праздник открытия катка. Это был сказочный вечер. Ледяное зеркало отражало яркое электрическое освещение. Елочки, расставленные по периметру высокого снежного вала, окаймлявшего стадион, были увешаны гирляндами разноцветных флажков и вымпелов. Заполярье в этот вечер премировало нас чудной погодой и иллюминацией с неба – на нем ярко светилося северное сияние.

На стадион пришел весь Норильск. В полном составе появилось руководство комбината. Замечательная особенность, вошедшая в традицию: весь высший комсостав активно занимался спортом. Начальник комбината Александр Алексеевич Панюков был из тех так называемых меценатов, которых, дай бог, было бы побольше на таких должностях. Он не приказом и не словесными призывами, а личным примером увлекал людей в спортзал, на стадион, он понимал, что затраты на сооружение спортивных объектов с лихвой компенсируются повышенной производительностью труда. С каждым днем множилось число физкультурников, росла и нужда в условиях для занятий спортом. Преемники Панюкова, последующие начальники комбината в бытность моего пребывания там – Владимир Степанович Зверев, Алексей Борисович Логинов, – неизменно следовали этой прекрасной традиции: на деле проявлять заботу о здоровье заполярников. Тепло вспоминают норильчане и Ивана Макаровича Перфилова, и Василия Николаевича Ксинтариса, и Тимофея Гавриловича Стифеева, и Александра Ивановича Агафонова, и Николая Андреевича Даманова, умевших руководить крупными подразделениями комбината, не забывая про футбол, баскетбол, хоккей. Все они были безотказными ревнителями спорта, любили его и знали целительное воздействие физической культуры на инженера, мастера, рабочего и служащего. Ведь в Норильске всегда спать хочется – заполярный климат повышает сонливость, в особенности зимой, в этих условиях сооружение катка было очень важной задачей.

Когда с заснеженных трибун грянул духовой оркестр и бархатно зазвучали баритоны о невесомом, падающем с берез листе, заполнившая каток публика оживилась, как это всегда бывает с вступлением в дело музыки, и карусель катающихся быстрее двинулась по льду. Я, будучи не очень уж сентиментальным человеком, расчувствовался. И чудный вальс, написанный Матвеем Исааковичем Блантером, с которым мы дружественно встречаемся с незапамятных времен «эзкаэсов», «олелесов», «эскаэ»; и этот зимний оазис в тундре со сказочным уютом, с тихо падающими снежинками словно переселили меня в Москву, на Патриаршие пруды, заставили грезить наяву, что будто чудо может продолжаться до полного тождества с когда то пережитым впечатлением, и вот сейчас по ледяной дорожке

помчится Струнников в белом свитере и в черном трико, в профессорской шапочке пирожком, и все мы закричим: «Струнников – наддай! Струнников – наддай!..»

Николай Струнников, конечно, не побегал. В блаженном состоянии долго пребывать не пришлось. По ледяному зеркалу поползли змеившиеся косматые снежные охвостья – началась поземка. С каждой минутой усиливался ветер. Назревала пурга. Не прошло и двух часов, как самые заядлые любители коньков не могли уже противостоять штормовому ветру, погнавшему снег сплошной массой через опустевший каток, через обезлюдевший город. Ледовый праздник закончился. Норильск погрузился в снежную свистящую темноту.

Пурга злилась и неистовствовала, не прощая себе передышки, которой воспользовались люди, чтобы, как говорят ученые, поставить эксперимент, удавшийся вполне, хотя и на короткий двухчасовой срок.

Наутро, когда погода утихомирилась, мы с Павлом Павловичем, наводя порядок на катке, нашли на льду куропаток, подрезавшихся на электрических проводах в неуправляемом полете во время пурги.

– Сэр, – по установившейся привычке, на английский манер титулуя меня, сказал Тикстон, – с ней можно ладить!

Павел Павлович не ошибся, мы сумели приспособиться к сюрпризам погоды. Помогали заградительные щиты, целая служба хитроумно расставленных решетчатых, большой площади деревянных квадратов.

Вскоре на катке появились хоккейные команды. Их было много, и мужских, и женских. А я наивно спрашивал у Евгения Ивановича – выдерживают ли заполярный климат женщины?

Когда в Норильск, навестить меня, приехала сестра Клавдия – разносторонняя спортсменка: теннисистка, игравшая по классу мастеров, волейболистка и хоккеистка, выступавшая за сборные команды Москвы, я не преминул попросить ее внести свою лепту в норильский женский хоккей. Разумеется, я был горд, видя сестру фаворитом на ледяном поле, но в душе болел за команду, игравшую против нее. То была своя доморожденная, норильская. Удержать малоопытным хоккеисткам заполярницам столичного мастера было нелегко. Клавдия забила положенную норму голов для выигрыша матча. Но норильчанки старательно и довольно умело сопротивлялись, вполне сохранив спортивное достоинство, если судить по разнице забитых и пропущенных мячей в конечном результате.

Но зато я взял у столичной гостьи реванш по теннису. Мне удалось это сделать не по спортивному преимуществу, а благодаря недобросовестной тактике ведения игры. Я использовал неудобство спортивного зала, одного из его углов, не позволявшего делать полноценный замах для нанесения удара. Туда я и направлял все мячи, выигрывая очки и приводя в ярость партнершу нахальной откровенностью нечистоплотной борьбы. Клавдия играла лучше меня – и это было единственное средство ее победить.

– Ты Джинал! – заклемила меня сестра. Это была самая оскорбительная реплика по моему адресу за всю спортивную карьеру. Пройдоха кобель вдруг возник в памяти во всей своей неприглядности. Удар попал в цель: я извинился. Инцидент был исчерпан. Но запомнился как урок соблюдения спортивной чести в состязании, хотя бы и домашнего значения.

Жизненный опыт давно мне подсказал – в спорте прямой пропорции не существует, скажем, насколько высок ранг соревнования, настолько же высока и степень душевных переживаний. Бывает совсем не так. Многое зависит от обстоятельств, в которых ты пребываешь во время, допустим, футбольного матча. Конечно, наш теннисный матч с Клавдией в пример идти не может. Он волновал только наши спортивно непримиримые сердца. В спортзале, кроме Павла Павловича, не было ни единого человека.

Но вот норильский футбол волновал меня, скажу совершенно откровенно, иногда больше, чем в свое время чемпионат страны. Он пришел в положенную пору – в середине июня. Футбольное поле с полутораметровым уклоном от ворот до ворот, лысое, как коленка, с гравием и мелкой щебенкой у угловых флагов, наждаком сдиравших кожу при падении,

никого не отпугивало. Страсти на нем бушевали, как на поле бразильского «Маракана». На небольшие трибуны втискивалось и стояло вокруг этого плаца до нескольких тысяч любителей футбола.

И здесь, как и в Москве, работники творческих цехов тянулись к футболу, как к чему то родственному по духу.

Встречаясь в Москве с Георгием Жженовым, с народным артистом республики и по званию и своему творческому самовыражению, мы с любовью вспоминаем и Норильский театр, в котором радовали зрителя своим искусством и Иннокентий Смоктуновский, и Иван Русинов, и норильский футбол, привлекавший их в свою очередь в качестве зрителей на наш, тогда еще совсем неблагоустроенный стадион, но под солидной вывеской «Стадион Норильского совета ордена Ленина общества „Динамо“».

Я приехал в Норильск, будучи достаточно известным спортсменом в футбольном мире, имея широкий круг друзей и знакомых в кругах творческих работников – артистов, литераторов, художников. Я понимал, что здесь на футбольной целине от меня ждут приложения моих знаний в области футбола по самому большому счету.

Тренерского диплома у меня не было. Зато был огромный опыт. Футбольную жизнь я прошагал с мячом в ногах большую. Основоположники теории советского футбола Михаил Степанович Козлов, Михаил Давыдович Товаровский разрабатывали ее, вчитываясь в прописи футбольных ног моего поколения. Методы практической тренерской работы первого тренерского поколения – Михаила Давыдовича Ромма, Бориса Андреевича Аркадьева – я испытал на себе, выступая за сборную команду.

Педагогическая сторона дела, как мне кажется, важная и в футболе, была мне знакома по длительному общению с Яншиным, Рубеном Николаевичем Симоновым. К этому времени я все больше и больше утверждался во мнении о духовном родстве искусства и спорта. Таким образом, не только с мускулистыми ногами приступил я к руководству норильским футболом. Что то было и в голове, запомнившееся навсегда, хорошее и плохое, и не годное, помогающее и не помогающее. Не команда для тренера, а тренер для команды; уважение личности – основа педагогики; хочешь быть уважаемым, уважай другого, – все это отложилось в сознании как непререкаемые истинные положения для работы в творческом коллективе.

Одним словом, известное широкому читателю стихотворение Маяковского, но, к сожалению, мало знакомое футболистам, цитату из которого я произнес при первой встрече с поэтом, я знал наизусть не зря.

И все же я очень волновался, когда поехал тренером сборной команды Норильска на первенство Красноярского края по футболу. Новая роль – всегда волнующее событие.

К этому времени наш норильский стадион был заметно облагорожен. Усилиями комсомольцев, выходящих на субботники, поле было выравнено. Монументальный деревянный забор высился по всему периметру стадиона. Расширились трибуны. На спортивном празднике в честь Дня Победы, несмотря на раннее для Норильска время, на футбольном матче присутствовало несметное количество зрителей – весь город. Играли на снегу.

Вместе с ростом популярности футбола росли и требования к тренеру. А меня не переставала тревожить мысль, – а не Дон Кихот ли я? – проповедуя рыцарские правила в борьбе на футбольном поле, упорно глаголя о приоритете личности исполнителя, о творческом самовыражении футболиста в игре, опираясь на примеры из театральной практики Станиславского, Яншина, Симонова.

Уж очень многослойным был социальный состав норильских сограждан. От маститых ученых, академиков до самых известных в уголовном мире рецидивистов. От Николая Николаевича Урванцева, первооткрывателя заполярных залежей ценнейших пород руды, и крупнейшего минералога Николая Михайловича Федоровского до Сашки Кавалериста, уголовника с сорока судимостями и бессрочным стажем лагерного пребывания.

Поселок тесный, общение и того тесней. «Кавалеристов» среди посетителей стадиона много. Да и в составе моей команды в сборной Норильска не мальчики паиньки играют.

Конечно, опора, как и всегда, на комсомольский актив команды – братьев Михаила, Николая и Анатолия Мальцевых, Леонида Юнчиса, Юрия Шиляева. Но есть и ребята, за которыми тянется хвост трудной юности, проведенной в колониях и исправительно-трудовых лагерях. Однако все они «завязали». Футбол любят и доверием дорожат и поводов к отчислению из состава стараются не давать.

Вот им я и преподавал кодекс спортивной чести, рассказывал о безаветной преданности любимому делу великих артистов, режиссеров, художников. Норильский театр стал частым местом посещения футболистами. Разумеется, популярность Жженова, Смоктуновского, Русинова делала свое дело: и равнодушный к театру человек пойдет посмотреть замечательных артистов. Но все же я замечал, как у ребят просыпается интерес к искусству, к его творческому процессу. На глазах происходила смена настроений, привычек. Ведь по началу не все благополучно было с дисциплиной, с режимом. В Норильске существовало и было довольно широко распространено мнение, что спирт здесь лучшее лекарство от всех болезней. Футбол стал барьером на пути к ларьку. К соблазну, если и шли, то тайком, оглядываясь. Зато в театр, местный ДИТР (Дом инженерно-технических работников), в котором организовывались концерты, ребята стали ходить чаще и с гордо поднятой головой. На сцене ДИТР, всегда при переполненном зале, выступали театрально-эстрадные бригады и из Москвы.

Приехала Тамара Семеновна Церетели. Ей сопутствовал и пожизненный болельщик футбола Евгений Анатольевич Кравинский, артист разговорного жанра, конферансье. Приехал напичканный самыми последними футбольными новостями. Ребята слушали его на стадионе, как говорится, разинув рот.

Тамара Семеновна была прекраснейшим примером верного служения сценическому искусству. Еще в двадцатых годах молодая певица пленяла мое поколение своим чудесным дарованием. Я помню ее дебют в Москве, состоявшийся на большой сцене Колонного зала Дома союзов.

Совсем молодая, с эффектной седой прядью в темных волосах, в длинном черном бархатном платье, дебютантка ошеломила всех своим чудесным голосом. Она пела и пела все новые и новые романсы, отвечая на непрекращающиеся овации давно уже стоя слушавших ее зрителей.

Я стал страстным почитателем ее пения. Особенно мне нравилась песня в исполнении Церетели «Живет моя отрада»... Бывают неотвязчивые мотивы, звучат и звучат в голове, переходя в привычку вспоминать их при определенных обстоятельствах. Так вот эту песню одно время я всегда вспоминал, одеваясь в футбольные доспехи, и подбадривал себя словами из нее при выходе на поле: «была бы только тройка сегодня порезвей!...» Это был как бы допинг безвредного применения.

Не забывал я про резвую тройку и в Красноярске, куда уже не в первый раз приезжал со сборной командой для участия в соревнованиях на Кубок края. Этот финальный матч проводился на местном стадионе «Динамо» при переполненных трибунах.

Известно, что если играешь сам, то волнуешься главным образом до выхода на футбольное поле. До первого удара по мячу. Непосредственное действие снимает лихорадку. Про нервотрепку забываешь, некогда заниматься самоанализом, впору успевать бегать и бить по мячу.

Другое дело, когда сидишь на скамейке в роли тренера. Тебя трясет, как во время малярного приступа. Во всяком случае, в ходе этого матча я ощущал нечто подобное. Игра складывалась в нашу пользу. В перерыве, сдерживая волнение, я пришел в раздевалку. Меня ждал сюрприз из самой неизученной области спорта – психологической подготовки. Наш левый защитник Забавляев не выдержал душевного напряжения. Он лежал на скамейке, всем своим видом показывая полную потерю физических и нравственных сил.

Я был в полном недоумении: что произошло? Я, чтобы поняли меня, должен рассказать об этом игроке подробнее.

Как это принято у спортсменов, ребята звали его усеченной от фамилии кличкой «Забава». Однако в мире трудновоспитуемых подростков в свое время он был известен под прозвищем «Бацилла». Когда мне впервые пришлось с ним столкнуться на норильском стадионе, он никак не походил на футболиста. В глаза бросалась необычная худоба и пронзительный взгляд страстотерпца на изможденном лице. Отсюда и кличка.

Оказалось, что Бацилла был фанатично влюблен в футбол. В дальнейшем он показал себя на поле как бесстрашный боец на месте левого защитника. Он давно забыл о своих проделках и был ударником машинистом. Безаварийно водил паровозы, а все свободное время отдавал футболу. Его язык был афористичен и абсолютно категоричен.

На мой вопрос при первом знакомстве: «Как у него дело с ударом?» он, не задумываясь, ответил: «Любой ногой корчую штанги» и добавил: «Нападающих укладываю штабелями».

Действительно, его тонкие ноги, похожие на сабли, могли срубить под корень самого ражего противника.

Когда перед матчем я спросил Бациллу, сможет ли он противостоять быстроногому крайнему нападающему Леониду Григорьеву, техничному футболисту с хорошим ударом, Забавляев, презрительно улыбнувшись, ответил:

– Мне таких на завтрак нужно дюжину!

И вот он лежит на лавке, заявляя, что больше играть не может, притворно жалуясь на боль в икроножной мышце. Да у него и мышцы то нет, не нога, а городошная бита, не толще.

Я понимаю, что он сломлен не физически, а духовно. Сдала волевая мускулатура. Смелый в быту, устойчивый боец в городском футболе, Бацилла не выдержал повышенного накала в финале междугороднего соревнования. Он пошел по линии наименьшего сопротивления – решил выйти из игры, не веря в победу до конца.

Я выдержал большую паузу, обличительно, в упор глядя ему в бегающие от смущения глаза. Он читал в моем взгляде: «Тебе не стыдно, бежишь с поля боя? Джинал!» Я не торопился объявлять замену: уж очень ненадежный был дублер. К концу пятнадцатиминутного перерыва, сгорбившись на скамейке, он стал натягивать гетру на свою левую «биту». Я видел, что в нем идет внутренняя борьба между совестью и безволием. Нужен был маленький толчок, легкая психологическая инъекция. Я сделал укол: «Саша, а может быть, ты пересиличишь боль и „дозавтракаешь“ с Григорьевым?» Он виновато улыбнулся и, сказав, что вроде бы боль стала потише, отправился, чуть прихрамывая, на футбольное поле.

Кульминация наступила за несколько секунд до конца игры. В прорыв устремился Григорьев. Он был самый быстрый футболист в Красноярске. На перехват бросился со всех своих сухопарых ног Бацилла. В отчаянном напряжении сил защитник в последнее мгновение помешал форварду ударить наверняка, и мяч, ударившись о перекладину, улетел в поле, где Бацилла под финальный свисток судьи отбойным ударом зажег победную свечу норильской команды в Кубке Красноярского края.

Я испытал в этот момент прилив радости такой вулканической силы, какую пережил после этого только много лет спустя, когда судья так же финальным свистком объявил победу сборной СССР в финальном матче Кубка Европы на парижском стадионе «Парк де Прэнс» в 1960 году.

По случаю победы в Норильске были большие торжества. Заполярный футбол, несмотря на вечную мерзлоту, корнями встал в почву, и за мое многолетнее пребывание там был полезнейшей лабораторией познания сути этого феномена, по своей популярности не знающего равных среди других видов спорта.

В самом деле, несколько состроченных долей кожи, резина, надутая воздухом, да деревянная балка в своем столкновении вызвали сотрясение чувств, эмоциональный взрыв у многотысячной аудитории, отголоски которого докатились до Москвы. Яншин, узнав о моих

тренерских успехах, в дружеском расположении прислал мне поздравительное письмо и костюм, с модным по тем временам длиннополым пиджаком, в шутку упоминая, что острые плечи времен «комнаты гондолы» теперь не носят.

Работа в массовом футболе, именно его я и называю большим футболом, наталкивала меня на размышления о роли тренера, на раздумья о том, что же главное остается в его практической деятельности. Я все больше склонялся к мысли, что главное – это педагогика, а потом все остальное. Тренер педагог, если хотите, тренер наставник, наконец, тренер режиссер, тренер постановщик, – все эти названия точнее раскрывают суть руководителя команды, коллектива, нежели «тренер», или «старший тренер», или «второй тренер».

Применительно к конному спорту тренер звучит правильно: там вместо языка – вожжи, кнут, оглобли или седло. Но в работе с людьми содружество по типу всадник – лошадь не годится, рассуждал я и установил во взаимоотношениях с игроками дух творческого содружества на принципе взаимоуважения. Мне кажется, что Бацилла вышел играть на второй тайм только потому, что воздействие на него было словом призывом, а не словом приказом.

Во всяком случае, этими принципами руководствовался я на своем первом этапе тренерской деятельности. Они принесли мне скромные успехи и огромные радости. Самое главное, я научился понимать и ценить игру, на каком бы уровне она ни проводилась, – прежде всего по духу честной борьбы и спортивного благородства.

В футболе такая мерка приживается не легко. Но уезжал я из этого города с чувством удовлетворения, потому что от нее ни разу не отступил. Во всяком случае так мне казалось, когда в местном аэропорту «Надежда» я сел в самолет, держа курс на Москву.

Заканчивая эту главу о далеком, но и по сей день близком мне Норильске, хочу сказать, что мои воспоминания об этом городе связаны не только с футболом, хоккеем, коньками, тренерской работой и другими спортивными событиями.

Норильск стал для меня, как и для моих товарищей, большой жизненной школой. На этой суровой, вечно мерзлой земле за Полярным кругом волей судеб собралось много самых разных замечательных, умных и доброжелательных людей всех специальностей: от комсомольских работников до видных ученых, от известных журналистов до опытных инженеров. И в том, что сегодня широкой огненной рекой льется норильский металл, немалая заслуга всех их.

Прошли годы. Сменилось поколение норильчан. Наших одноклассников там практически не осталось. Иных уж нет, многие на пенсии, а кое кто еще и трудится в разных городах страны. Но я не ошибусь, если скажу, что независимо от должностей и рангов все они всегда с некоторой гордостью за себя и своих товарищей вспоминают о тех героических буднях, когда их руками строился этот замечательный комбинат и город.

Глава 9 НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Обычно, возвращаясь после длительного отсутствия к обжитым когда то местам, удивляешься, словно смотришь в перевернутый бинокль. Улицы оказываются короче и уже, дома меньше и ниже, деревья не такие ветвистые, как это представлялось в памяти.

Но при моем возвращении в Москву все виделось как бы в бинокль с приближающей стороны. Проезжая Тарасовку, я не увидел стадиона, он скрылся за густолиственными кронами высоких деревьев, маленькая столовая при стадионе, где некогда шли жаркие споры о тактических построениях в матче с басками, затерялась в кустах зелени. Буйно разросшийся зеленый массив совсем закрыл нашу спортивную загородную базу. До войны здесь были лишь молоденькие насаждения.

Улица Горького поразила жизнерадостной яркостью нарядов москвичей, движущихся по широким тротуарам с непривычной для провинциала быстротой и поразительной для такой густой толпы верткостью.

В сиянии солнечного июльского дня зеленые липы, ослепительные витрины нижних этажей, нескончаемого ансамбля многоэтажных домов, гудки и сирены автомобильного потока – все это воспринималось мной, как великое преображение московской земли. Как могучее второе дыхание, возникающее у спортсмена, – читай народа, – когда он преодолел критическую точку временной трудности.

Затемнение, мешки с землей, предохраняющие зеркальные витрины, чугунные надолбы, перекрывающие заставы, аэроостаты, сторожащие небо над столицей, остались только в памяти героического прошлого.

Время наложило свой отпечаток и на людей, с которыми я долго не виделся. «Здра а а авствуйте, мастер!» – певуче, как прежде, разводя руки, приветствовал меня Яншин, встречая с группой близких и друзей на перроне Ярославского вокзала. И тут же, не дожидаясь ответа, предупредил, по видимому, приевшийся вопрос или дежурное удивление: «Знаю, знаю, что потолстел – сто двадцать шесть килограммов!» Но так или иначе внешне Михаил Михайлович необычайно изменился. От танцевальной легкости его походки, от изящной подтянутости не осталось и следа.

Виною нездоровой тучности был перенесенный обширный инфаркт, заставивший беречь больное сердце и до минимума сократить движения. Автомобиль стал заменять артисту непоседливые ноги. Он вел непримиримую борьбу с болезнью ожирения. Ложился в Институт питания. Сбавлял до двадцати килограммов веса. Садился на аскетическую, обезжиренную диету. Иногда возмущался – «что я козел, чтобы одни овощи есть?» – но характер у него был все тот же, яншинский, упорный и непримиримый в желании добиться своего, и он продолжал сидеть на морковке и разной зелени, пока не достигал заданного себе лимита веса.

Руководила им в этом любовь к театру, к своей артистической и режиссерской деятельности. А дело принимало угрожающий оборот: одолевала сонливость. Он мог забыться в дремоте в самый неподходящий момент. Александра Павловна не шутя беспокоилась и сидела как на иголках в партере, когда по ходу пьесы «Школа злословия» ему надо было спрятаться в шкафу и побыть там несколько времени за закрытой дверью – вдруг Мишенька там заснет!

Яншин сердился. Он то, разумеется, знал себя лучше. Но понимал, что только железный режим сохранит ему возможность дальнейшего восхождения к вершинам сценического творчества. Завзятый дымила, он после болезни в течение двадцати лет не выкурил ни одной папироски и не выпил рюмки крепкого напитка.

При этом Михаил Михайлович не утратил ни пыла души, ни пытливости характера. Он всегда был готов в свободное время поехать на футбол, на теннис, на хоккей, на рыбалку, на ипподром, на художественную выставку, на природу послушать соловьев. Круг его интересов по-прежнему был необъятен.

На другой же день по приезде, пригласив с собой Арнольда, мы отправились на футбольный матч чемпионата страны, проводившийся на стадионе «Локомотив» в Черкизове.

Я увидел спустя двенадцать лет команды высшей лиги. Пожалуй, мое восприятие игры было контрастнее, чем у моих соседей. Оно не было сглажено постепенностью изменений техники и тактических действий исполнителей. Минуя путь многолетней эволюции футбола, я глядел на игру через два футбольных поколения. К моему удовлетворению футбол стал «Великим немым». Бум, бум, бум – громкий язык мяча после отстрельных бездумных ударов, то и дело слышавшихся в давние времена далеко за заборами стадионов, сейчас едва улавливался с трибун. Торжествовал тактический принцип – лучше ближнему своему, чем дальнему чужому. Было очевидно, что футбол стал интеллектуальнее. Пресловутое «одно касание», как тактический прием, заняло подобающее ему место, перестало быть единственной мундирной формой для всех игроков. Творческий элемент в действиях отдельных исполнителей проявлялся на поле в достаточной мере, чтобы игра смотрелась с интересом. Не утратила своего значения и формула «порядок бьет класс». Матч выиграла

команда, показавшая в своем движении большую сумму скоростей и ни в чем не превосходившая своего противника по всем другим компонентам футбола.

Критические замечания Яншина и Арнольда по поводу недостатков, просматривавшихся в игре, с моей стороны поддержки не нашли. Может быть, потому, что они пробовали блюдо, как сытые гурманы, а я как проголодавшийся приезжий. Они критиковали отдельные моменты – неточный удар, ошибочный пас, неверный ход того или иного игрока, сопоставляя эти действия с предыдущим матчем недельной давности. Я соизмерял поколения. Их поступь к совершенствованию. И мне казалось, что поколение пятидесятых годов сделало заметный шаг вперед и движется в правильном направлении.

Вопрос – когда лучше играли, «вы, нынешние, нут ка» – извечный. Но я не кривил душой, делясь первыми впечатлениями. Мне в тот момент «со стороны» было виднее. Поначалу Яншин, стойкий хранитель традиций уважительного отношения к корифеям сцены и наследию великих деятелей литературы и искусства, посмотрел на меня злым глазом: забыл, мол, про басков! Но когда я ершисто возразил, что про басков не забыл, как не забыл и про Федотова, и в свою очередь спросил: не считаете ли вы, что не стало Станиславского и Немировича Данченко и Художественный театр стал хиреть? – его злой, колющий зрачок стал менять выражение на добродушную укоризну. Дело в том, что по дороге на стадион он в разговоре о театральных делах доказывал Арнольду, хотя Арнольд несколько не возражал, как несправедливо, «прямо по дилетантски», отдельные критики высказываются о сдаче позиций Художественным театром. Спор сам собой истаял: Яншин чтит авторитеты прошлого, но сердце его жило и в настоящем и в будущем. Он любил молодежь и высоко ценил все хорошее новое. Любить хорошее прошлое – это значит заботиться о будущем, так, по словам Яншина, должен рассуждать педагог о настоящем.

Вскоре Яншин пригласил меня поехать на юг на машине художника Дмитрия Марковича Иттина, тоже большого любителя футбола. Я не раздумывая согласился. Мне надо было ехать в Сухуми на заранее назначенную встречу с женой. Ольга находилась там на гастролях в составе труппы цыганского театра «Ромэн». После ее последнего посещения Норильска прошло значительное время, и я спешил повидаться с ней.

В перерывах между похрапываниями Михаила Михайловича мы всю дорогу ворошили дела театральные и футбольные. Вспоминали ставшие далекими тридцатые годы, басков, парижские встречи и переживания военных лет. Полуторадневный путь от Москвы до Симферополя, с ночевкой в машине под Харьковом, предоставил нам достаточно времени и в согласии послушать друг друга и вперебивку повозражать.

Михаил Михайлович был незлобивый человек и потому к мелким слабостям другого относился снисходительно. Он заливался смехом, когда рассказывал о злключениях, пережитых им вместе с Михаилом Аркадьевичем Светловым. Их свела судьба во время эвакуации. Плыли они вниз по Волге на пароходе и изнывали от желания курить. А табаку не было. Случайно, где то под Куйбышевом, на пароходе объявился знакомый Яншину по Москве юрист, известный и мне как спартаковский болельщик. Он был, рассказывал Яншин, сатанински изворотлив, добыл где то сигареты, но ни артисту, ни поэту закурить не предложил. Наоборот, дымя при них, с озабоченно сочувственной миной на лице говорил, что и рад бы был их угостить, но не может обидеть супругу, отдавшую последнюю брошку, чтобы выменять сигареты, зная, как любимый муж страдает без табака. Наконец, после долгого ломанья, разговоров о своей совестливости пошел на обмен. Юрист ободрал каждого «как липку». В возмещение утраченной фамильной брошки он требовал с Яншина и Светлова все наличные деньги, выманил какие то носильные вещи и после этого выделил по несколько штук сигарет. А позднее выяснилось: он выпросил сигареты у капитана парохода для страдающих без курева своих «знаменитых друзей». «Мы смеялись со Светловым до слез, – продолжал Яншин, – когда в ответ на наши укоризны вымогатель недоуменно оправдывался: „Что вы от меня хотите? Ведь добыл то сигареты действительно я! Что из того, что брошку я сменял на хлеб, я тоже есть хочу“».

Я знал Михаила Аркадьевича Светлова давно. Он был бессребреник и, если речь заходила о деньгах, всегда говорил о них с иронической улыбкой.

Яншин живо представлял Светлова, его улыбчивые щелочки глаз, его ироническую, но беззлобную реакцию на цинизм вымогателя:

– Джиалом оказался наш общий знакомый, – насупив брови, закончил рассказ о сигаретах Яншин. – Нет, вы только подумайте! – вдруг вскинулся он вновь, обращаясь к смеявшемуся Иттину и ко мне. – Опять этот прохиндей объявился в Москве. Недавно увидел меня около театра, руки распростер, бросился чуть ли не обнимать при всем народе, я едва руку успел предохранительно выставить, и восторженно кричит на весь Камергерский: «Михаил Михайлович! Родной мой, как я рад вас видеть! А „Спартак“ – то наш, а!» – «Ну, что „Спартак“, – зло так одергиваю его, – отвратительно играл ваш „Спартак“, вот и все». – «Да ведь выиграл же!» – чего, мол, вам еще надо. Голову вскинул, модная шляпчонка чуть не свалилась, этаким фертом стоит, как курок взведенный, – а еще, дескать, болельщиком спартаковским считается. Хотелось по морде так и влепить, едва удержался, – сердито сказал и заерзал на сиденье Яншин. У него это было признаком большой раздраженности.

Я отлично понимал, чем он был особенно раздражен. И сигареты и объятия Яншина во гнев не ввели бы. Ноздревы, Загорецкие в жизни его больше смешили, чем сердили.

Нет, в данном случае возмутило другое – попытка юриста усадить его с собой на одну болельщицкую скамейку. Считать его «родным» по «духовной» преданности команде. Представить, что он может мыслить и чувствовать по принципу «плохой, но наш». Видеть в нем правоверного болельщика, оголтело кричащего, что наши лучше, даже когда они очевидно хуже. Как раз все то, что противоречило нравственному кодексу Яншина и в искусстве, и в спорте.

Яншин терпеть не мог слово «болельщик». Возмущенно протестовал, если кто бы то ни было так его называл. «Мне может нравиться команда или не нравиться, я могу ей симпатизировать или не симпатизировать – все зависит от качества игры, от культуры, если хотите знать, поведения игроков на поле. На черта мне ходить на футбол, если там только и делают, что по ногам друг друга бьют вместо мяча. Я такого футбола не признаю. Я хочу там получать удовольствие, как в театре, а он мне – „ведь выиграли же!“». А как выиграли то – смотреть противно было», – продолжал возмущаться Михаил Михайлович.

Он действительно был взыскательный зритель. Не скрывал, что симпатизирует «Спартак», но был по настоящему объективен в своих оценках. Эта раздражительная реакция на плохую победу спартаковцев была чисто яншинской. Он всегда говорил, что достойное поражение не хуже плохой победы.

И вот сейчас в продолжение этого долгого пути в машине его так и подмывало все время говорить о футболе, тем более что неудачный дебют на Олимпийских играх в Хельсинки еще был свеж в памяти.

Правда, его не столько разочаровал сам факт поражения от югославов, сколько его последствия. И с ним нельзя было не согласиться, что роспуск команды ЦСКА, как базового коллектива сборной команды, якобы повинной в проигрыше, был по меньшей мере санкцией опрометчивой.

Как бы ни был долг путь, у него всегда есть конец. Мы приехали в Ялту. Нашли уединенное безлюдное место на морском берегу, с огромным нагромождением камней, скользких, покрытых зеленым мохом. Надо обладать акробатической ловкостью, чтобы по ним добраться до воды. Не успели оглянуться, как Яншин, не долго думая, разоблачился и, поражая тучностью, направился к воде, балансируя на камнях, как новичок конькобежец на льду. И вдруг с высокого каменного трамплина ринулся вниз головой в море. Волны вскипели над погружившимся в воду Яншиным, и мы уже начали с Иттиным волноваться, когда он, как мощный тритон, всплыл на поверхность и приветливо помахал нам рукой – чего же, дескать, не купаетесь.

Мы наградили его дружными аплодисментами и не без труда, скользя по тем же камням, залезли, осторожно ощупывая дно ногами, в море. От ныряния с высокого камня воздержались.

– Каков наш инфарктник то, а? – потихоньку бурчал мне Дмитрий Маркович, полоскаясь у берега.

– Помылись? – иронически спросил Яншин. – Теперь пойдемте приведем себя в порядок и поедем поздравить Марию Павловну.

Мы с волнением ожидали этого часа. Марии Павловне Чеховой вот вот исполнилось девяносто лет. У Яншина было поручение от Ольги Леонардовны Книппер Чеховой поздравить любимую сестру мужа с юбилейной датой.

С душевным трепетом ожидали мы у парадной двери, тогда еще не огороженной ауткинской дачи, когда нам откроют на звонок Михаила Михайловича.

Все оказалось проще, чем представлялось. Никакой чопорности. Мария Павловна встретила Яншина очень дружелюбно, как давнего знакомого, и мы с Иттиным не остались без ее любезного внимания.

Пьем чай. И с ощущением чего то ирреального я слушаю воспоминания вполне реальной Марии Павловны, как после пасхальной заутренни «я, Антоша и Николай Андреевич Римский Корсаков из Кремля пошли встречать восход солнца на берег Москвы реки, у Каменного моста»... Как потом в музыке Римского Корсакова ей слышались переливы звона колоколов московских сорока сороков.

Помнится, к концу нашего чаепития раздался звонок, и через минуту послышалось пение. Зазвучал голос, который, как качаловский в декламации, узнаешь с первой ноты. Звук приближался, голос усиливался в своем удивительно лиричном и радостно животворном утверждении «Я встретил Вас, и все бывшее в отжившем сердце оживало...».

Это приехал Иван Семенович Козловский, как всегда жизнерадостный, полный добра и внимания ко всем окружающим. Мария Павловна взволнованно выслушала и романс и поздравления артиста, который доставил ей такое огромное удовольствие. Это было видно и по ее оживленным глазам и по приветливости, с какой она усаживала Ивана Семеновича к столу. Стало совсем по домашнему просто.

Иван Семенович Козловский обладает чудесным даром быть всегда гостем долгожданным, даже если только что был рядом. Это от щедрой его души. Он дарит себя людям безотказно, как и подобает делать человеку, награжденному природой большим талантом.

Мы побродили по знаменитому чеховскому саду, посидели на скамейке, где сживал Антон Павлович, очень любивший здесь отдохнуть, как говорила Мария Павловна. Подышали Чеховым в его комнате, где хозяйка дачи оставила все «так, как было».

Распрощались и уехали с просветленной душой.

В Сухуми состоялся семейный совет, где, несмотря на возражения подростковой дочери – «Папа, тебе скоро пятьдесят, а ты все о мячиках да трусиках», – я при категорических высказываниях Яншина и молчаливом одобрении жены утвердился во мнении, что работать надо продолжать в области спорта.

Сомнения возникли потому, что был выбор. В Норильске последнее время я работал начальником планово финансового отдела управления местных стройматериалов. Тренировки по футболу вел по совместительству. Несмотря на то что работа инженера экономиста, в особенности по планированию сложного производства – железобетон, шлаковата, стекло, термоизоляционный и строительный кирпич, деревообделочные детали и прочие виды строительных материалов, – дело интересное, но без футбола было скучно жить. Я понял: без стройматериалов могу, без «мячиков и трусиков» нет. Это соображение и решило дело.

Я стал сотрудником аппарата Центрального совета в обществе, в котором состоял членом со дня его организации.

– Оглянитесь, не торопитесь, – наставлял меня Исидор Владимирович Шток, – за двенадцать лет много футбольной воды утекло, да и театальной не меньше.

Исидор Шток, любитель футбола с далеких довоенных лет, а драматург с еще более раннего времени, трезво оценивал обстановку. И я понимал, что норильский футбол не московский. Не торопился, но видел, насколько образованнее стал и игрок и зритель. Тренера пока я не разглядел. Понимал, что в развитии он отстать не может от игрока и зрителя. Но не убежал ли далеко вперед? Не оторвался ли, без оглядки лидируя, от своих?

В долгих беседах со Штоком мы всегда затрагивали тему взаимоотношений режиссера и актера, автора и редактора, игрока и тренера, художественного руководителя и драматурга. Исидора интересовали эти вопросы еще и потому, что он работал над пьесой «Ленинградский проспект».

Я продолжал стоять на позиции приоритета исполнителей: автора, актера, футболиста. Но кто может ответить, где тут норма?

Накануне первого чемпионата Европы (тогда он разыгрывался как Кубок Европы) у меня был разговор с Николаем Николаевичем Романовым. Настоящий государственный деятель в области развития физической культуры и спорта, Николай Николаевич знал и, самое главное, любил футбол.

Еще в 1940 году, будучи секретарем ЦК ВЛКСМ, он возглавлял спортивную делегацию в Болгарию. Я тогда был капитаном команды. Воспитанник комсомола, он не любил людей инертных. Сам очень инициативный, требовал активного дела и от подчиненных.

Сидя в кабинете председателя Союза спортивных обществ и организаций – тогдашняя его должность, я пытался уйти от ответа на прямой вопрос – пойду ли я работать во Всесоюзную федерацию футбола в заместители к В. А. Гранаткину.

– Чего виляешь? – наседал Николай Николаевич, – Отвечай прямо!

– Вряд ли я удержусь долго, – опять уклончиво ответил я.

– Почему ты так думаешь? Объясни.

– У меня, Николай Николаевич, есть личное мнение на отдельные положения в футболе, могу быть не сговорчив.

– А мне как раз сговорчивые и не нужны. Нужны специалисты. Вот вас трое заслуженных мастеров – Гранаткин, Мошкаркин и ты, будете отвечать за футбол. Но чтобы не я предлагал вам, что надо делать, а вы мне рекомендовали, как двигать наш футбол вперед.

Вскоре я поехал в Венгрию руководителем делегации и начальником сборной команды страны на ответный матч. Первый, в Москве, наши футболисты выиграли с запасом в два мяча.

Старшим тренером был Михаил Иосифович Якушин. За время моей работы с 1959 по 1970 год, с небольшими перерывами, начальником команды, старшими тренерами в ней были Гавриил Дмитриевич Качалин и Константин Иванович Бесков.

С ними я делил самые великие радости и самые большие печали. Кажется, в какой то восточной стране существует секта самоистязающихся. Человек сам наносит себе рану для того, чтобы потом испытать прелесть выздоровления. Чем тяжелее увечье, тем больше радость. Нечто подобное мы испытываем от футбола. Иногда думаешь, а что, если бы моя команда никогда не проигрывала? Ведь скучно стало бы. К счастью, таких команд нет. Но, к сожалению, с этим не хочет считаться, как говорится, вышестоящее звено.

С Михаилом Иосифовичем мы праздновали победу в Будапеште, завоеванную в сложнейшей по напряжению борьбе. Именно тогда сработали опыт и знание дела, когда тренерский план игры предусматривал не оборонительный вариант на удержание преимущества в два гола, а атакующий, потому что гол, забитый на чужом поле, ставил хозяев в безнадежное положение. И решающий гол был забит атакующим полузащитником Ю. Воиновым, поставленным вместо тяготеющего к защите В. Царева.

А горевали мы с Якушиным в Риме. Подброшенная вверх монета упала на землю не в нашу пользу, капитан А. Шестернев не угадал, и сборная уступила место в финальном матче команде Италии, с которой сыграла ноль ноль. Вскоре уступил свое место и Якушин.

С Константином Ивановичем Бесковым радовались победе в Нексогональном турнире в Мехико. В трудные минуты, под конец игры, когда «селекцион Русо» – так скандируют на испанском языке мексиканские зрители нашу сборную – терпела бедствие, проигрывая один два, смелая замена ветеранов на двух молодых – Казбека Туаева и Михаила Мустыгина, – произведенная тренером, повергла в отчаяние 75 000 зрителей, переполнивших стадион и уже праздновавших победу своей команды.

Сначала Мустыгин, а потом Туаев на последних минутах игры забили по одному голу. Оба гола красавцы, забитые с применением слаломного дриблинга и отточенной по технике концовкой. У Мустыгина это был удар неотразимо сильный и прицельный. У Туаева – швырок внешней стороной стопы, как это сделал Пеле, забивая гол в ворота нашей сборной в Лужниках.

Потом победа над сборной командой Италии в Москве со счетом два ноль и повторный матч на олимпийском стадионе в Риме, когда тренер Бесков вывел команду, отмобилизованную на осуществление атакующего варианта игры, и Геннадий Гусаров забил первый гол, поставив точку, предопределившую выход сборной СССР в финал чемпионата Европы.

Разве такие победы не залечивают раны поражений? Конечно, залечивают. Но бывают и осложнения.

Мы возвращались из Испании с финального матча первенства Европы. В Барселоне выиграли у Дании. В Мадриде проиграли хозяевам поля один два. Ребята стали серебряными призерами.

Но серебро оказалось недостаточно целительным металлом. Рану незавоеванного золота оно не залечило. Константин Иванович был отстранен от должности старшего тренера сборной команды. Тренер внезапно потерпел поражение на заседании президиума Всесоюзной федерации футбола, ему объявили об отставке через час после того, как утвердили план подготовки команды на будущий год.

Под руководством Гавриила Дмитриевича Качалина сборная команда страны одержала две самые крупные победы на международной арене. В Мельбурне на Олимпийских играх ее капитан Игорь Нетто поднялся на высшую ступень пьедестала почета. А через четыре года в 1960 году в Париже на стадионе «Парк де Прэнс» он же пронес по кругу почета Кубок Европы.

Такие победы сгладят любые рубцы поражений. Никогда не забуду, какой прилив восторженных чувств охватил нас тогда. Николай Николаевич Озеров тут же после матча, на футбольном поле, поздравляя меня с победой, без конца повторял: «Дождались!»

– Ну что, попробуем еще раз, – предложил мне Качалин, когда он принял сборную команду для подготовки ее к выступлениям на мировом чемпионате в Мексике.

Я недолго раздумывал и вторично стал начальником команды. Результат известен: проиграв четвертьфинальную игру Уругваю, финал мы уже смотрели в Москве по телевизору.

Гавриил Дмитриевич близко к сердцу принял поражение и подал в отставку.

Вспоминая основные вехи работы с этими высококвалифицированными специалистами, с удовлетворением убеждаюсь, что они были родственны по пониманию роли тренера и его взаимоотношений с игроками.

У каждого был свой взгляд на игрока, на тактический рисунок ведения игры, на выбор форм и средств проведения тренировочных занятий. Но ни один не подавлял в игроке личность, ни один не ходил по паркетной дорожке, приподнятой над землей футбольного поля, все завоевывали авторитет и признание через уважение к игроку, к коллективу. Нетерпимое для уха – «я играю», «я выиграл» – от них не услышишь.

Творческое самовыражение игрока поощрялось, ноги футболиста на поле не сдерживали путы категорического приказа – бежать строго туда то. Вырабатывалась только общая схема действия в линиях и между ними, стратегический план предстоящей борьбы. Качалин, например, одобрял, когда после установки на игру ведущие игроки Лев Яшин, Игорь Нетто, Валентин Иванов собирались в номере – основное ядро команды и без руководства, в добром согласии укрепляли «духовную мускулатуру» перед ответственной схваткой – действовал коллективный психолог!

Вот потому, мол, и проигрывали, скажет сторонник безапелляционного приказа. Кто знает, может быть, – неопровержимых истин футбол не терпит. Я лично считал и не разуверился во мнении, что и Качалин, и Якушин, и Бесков, опираясь на коллектив, уважая личность исполнителя, показывали свои высокие педагогические качества и именно поэтому имеют на своем счету самые значительные победы советского футбола.

Для меня тренер и педагог понятия неразделимые.

Конечно, немалые заслуги и у других тренеров. Достаточно назвать имена Николая Петровича Морозова – четвертое место в Лондонском чемпионате мира; Александра Семеновича Пономарева – призовое место на Олимпийских играх в Мюнхене; Виктора Александровича Маслова, Никиты Павловича Симоняна, Валерия Васильевича Лобановского, приводивших свои команды к победам в чемпионатах страны, Кубке СССР и в крупнейших соревнованиях международного календаря. Но мне не довелось с ними работать, как говорится, рука об руку. Да и речь идет не о классификации тренеров, а о пережитом, оставшемся в памяти, об уроках футбольной жизни.

Вот один из них, показывающий, какой гримасой может улыбнуться мяч, как только ты возомнишь, что победа в кармане. Ничто в это утро не предвещало беды. Наша олимпийская сборная под руководством Вячеслава Дмитриевича Соловьева, казалось, была хорошо подготовлена. Сегодня предстоял матч со сборной командой ГДР. Первая игра в Лейпциге закончилась один один. Важный гол наши забили за несколько минут до конца. Теперь игра на своем поле. Погода отменная, на дворе июньское тепло. Народу на матче полным полно. В такой день олимпийской встречи жизнерадостность у футболистов должна быть ключом. В раздевалке настроение боевое. Но сквозь эту боевитость проскальзывает опаснейший симптом, он неуловим, больше угадывается, чем проглядывается, – неужели самонадеянность? С чего бы это? Ведь в Лейпциге едва убежали от поражения. Так рассказывали. Я не ездил туда, был занят с первой сборной. Но все равно ответственность на мне. А матч решающий: в олимпийских турнирах не решающих не бывает: его исход определяет, быть ли нашей команде в финале Олимпиады.

Однако прочь сомнения! Победа должна быть за нами! В это верит и тренер.

Уверенность в победе упрочилась у меня, когда я взглянул на нашего вратаря, Рамаза Урушадзе, гиганта двухметрового роста, не раз выручавшего нашу команду в матчах высокого ранга, которому стоит протянуть руку – и любой верхний угол наглухо закрыт.

Все складывалось по нашим расчетам. От победы нас отделяли считанные секунды. Я, как начальник команды, уже раздавал интервью нетерпеливым журналистам, и на груди у наших ребят мне мерещились золотые олимпийские медали. По нашим соображениям выходило, что сильнее этого противника уже не будет.

Но что такое!.. С правого фланга противник продвигается к воротам, наносит удар, мяч не сильно катится по земле, и наш вратарь, непроизвольно падая в каком то непонятном направлении, пропускает мяч в сетку.

Как ветром сдуло всех журналистов. А после повторного матча, с четырьмя уже пропущенными мячами, сдуло и мечты о золотых медалях, наш преждевременный кураж оказался олимпийским миражем.

И вот когда мираж рассеялся, я не на олимпийском стадионе в Риме, и никакого круга почета с командой не совершаю, а понуро бреду в Скатертный переулок к своему начальнику, меня посетила мысль, которая, наверное, не дает спокойно спать ни руководителям, ни тренерам, ни самим участникам Олимпийских игр: можно ли

предусмотреть все случайности в соревнованиях большого спорта? Ведь Рамаз из ста таких ударов на тренировке отразит все сто!

Мой непосредственный начальник лишил меня необходимости заниматься исследованием закономерностей и случайностей результатов в олимпийских видах спорта. Глубоко угнездившись в своем кожаном кресле, словно опасаясь, что в создавшейся обстановке его могут выдернуть из привычного местопребывания, он, сардонически улыбаясь, задал мне всего один и очень лаконичный вопрос:

– Ну, сам напишешь или?..

Разумеется, я воздержался от «или» и предпочел написать «по собственному желанию».

Век живи – век учись. Прописная народная истина, для футбола тем более непреходящая. Игра, по сути дела, остается в рамках тех же правил. Но как она изменяется по своему внутреннему содержанию, по своему зрелищному выражению!

Иногда эти изменения носят скачкообразный характер. Кардинально меняется тактическая схема. Наступает новый этап, новая веха на пути развития. Толчок тренерской мысли, повышенный спрос к интеллекту игрока.

Такая перестройка, как всякое новшество, гладко не проходит. Журналистскому корпусу только успевай хвалить и критиковать, кто успел лучше приноровиться, освоить рационализацию, внедрить в производство, а кто продолжает держаться за старое, за отжившее. Вот здесь во всем своем значении на передний край как самый объективный член футбольного жюри выходит зритель. Он выражает свое мнение открытым голосованием. Если он «за» – трибуны полны. Если «против» – полупустые, потому что, какой бы плохой футбол ни был, отказываться совсем от него нельзя.

Массовый болельщик всегда прогрессивное поддержит, ложное отринет, забракует. Зритель растет, мне кажется, прямо пропорционально росту качества зрелища. Но он потребитель и у него спрос требовательнее. Он хочет приобрести лучшее, что выставлено напоказ, что он видел на мировых футбольных фестивалях, а ему иногда преподносят залежавшийся на складе неликвид – «бетон», «замок Раппана», «каттеначио». Он хочет видеть жизнерадостный атакующий футбол, а ему сплошь и рядом приходится наблюдать окопный футбол, черновой прогон бесконфликтной пьесы. Зритель с этим мириться не хочет и голосует против – прекращает посещать будничные матчи, в ожидании праздничного довольствуясь телевизором или словесными беседами, но нередко с тоской о прошлом – «вот помню раньше играл»...

Суждения по этому вопросу диаметрально противоположные.

«Татьянин день» – в этот когда то студенческий праздник дореволюционной России, когда учащимся высших учебных заведений все рестораны и трактиры были открыты для бесплатного питания и увеселения души, Борис Александрович Петров и Татьяна Сергеевна традиционно приглашали к себе гостей. Как обычно, бывал Яншин с супругой Нонной Владимировной Мейер, артисткой Театра им. Станиславского – хранительницей здоровья и житейского благополучия в доме Михаила Михайловича.

Приходил и Александр Александрович Вишневский, прославленный хирург. Мы примерно в одно время были с ним в Мексике, и когда разговор зашел о футболе, то я не преминул рассказать, что встретил там басков. Все очень заинтересовались: как Лангара?!, как Регейро?!, как Ауэдо?!

В самом деле, с басками я там встречался неоднократно. Да, да, подтверждал я, и Исидро Лангару, и братьев Луиса и Педро Регейро и Эмилио Алонсо, и Грегорио Бласко, и Ауэдо, и других футболистов, приезжавших в 1937 году. Они полны воспоминаний о поездке в Советский Союз. Живут они в Мексике тесной семьей эмигрантов, не пожелавших вернуться домой, где правил фашистский диктатор Франко, Луис среди них по прежнему непререкаемый авторитет.

Все они попробовали быть тренерами, но никто в местных условиях успеха на этом поприще не достиг. В Мексике в то время не было регламентированного профессионального

футбола, и любительские клубы с футбольных полей финансового урожая в нужном объеме не собирали.

– Андрес, – помню, обратился ко мне Луис за товарищеским ужином, – у нас, – он показал на футболистов, – тридцать шесть детей. Трабахо, трабахо, трабахо! – Надо, мол, много работать, чтобы их прокормить.

Все они мелкие предприниматели, едва сводящие концы с концами. Лучше других существует Лангара. Он холост и содержит небольшой бар. Выглядит, как накануне матча на «Динамо».

Баски пригласили нас вместе с ними спеть «Каховку». Пели по русски – они очень хорошо и в отличие от нас помнили наизусть все слова светловского стихотворения.

Вернувшись из Мексики, я рассказал Михаилу Аркадьевичу о встрече там с басками и поблагодарил его за развитие международных футбольных связей. «Старик, испанцы должны были петь „Гренаду“!» – с довольной улыбкой возразил Светлов.

У Луиса Регейро сын выступает за профессиональную мексиканскую команду. До отца ему сто верст и все лесом. Но на советы капитана басков он заносчиво ответил: «Папа, ты же играл в четырехугольный мяч!»

Профессора Вишневого как будто внезапно укололи шприцем. Он так и вскинулся: «Да ты бы его спросил, он Селина видел на поле? Неповторимый игрок! Его весь народ любил, так и звали – Федор, Федька Рыжий. Как играл, летал в воздухе! Космический!.. Стихи писали, помнишь?» Я, соглашаясь с ним, напомнил известное в прошлом четверостишие:

Мир футбола чист и зелен,
Зелен луг и зелен лес,
Только очень рыжий Селин
В эту зелень как то влез...

Воспоминания о футбольном прошлом не имеют ни начала, ни конца. Приятное времяпрепровождение. В особенности за столом такой мастерицы кулинарных дел, как гостеприимная хозяйка Татьяна Сергеевна, кстати не пропускающая вместе с Борисом Александровичем ни одного значительного футбольного матча.

Разумеется, разговор шел не только о футболе. Борис Александрович, громкоголосый, молодой, элегантный в свои «под семьдесят», делился впечатлениями от посещения медицинского центра в Мехико. Рассказывал с юмором о том, как его посвящали в почетные члены Американского колледжа хирургов, одевая в длиннополую тогу и в специальный головной убор. Он был в ударе, потому что миновала критическая точка в борьбе за человеческую жизнь. Мальчишка толкнул дружка в костер, и тот получил ожог смертельной степени. Операция по пересадке кожи предотвратила летальный исход, больной пошел на выздоровление, и профессор был в отличном настроении после одержанной победы.

Александр Александрович до того, как вспомнить про Федора Селина, рассказывал об уникальных случаях из своей хирургической практики. Прославленный на весь мир хирург не скрывал своего чувства полной удовлетворенности: вступал в эксплуатацию новый огромный клинический корпус на Большой Серпуховской улице. Он шутливо приговаривал: «Все у меня будете, всем места хватит!»

Мне напророчил. Скоро я попал к нему на хирургический стол в этот новый корпус. Метод лечения радикулита «по Вишневскому» сработал безотказно. Новокаиновую блокаду делал сам Александр Александрович, а долечивался я в клинике под наблюдением Александра Александровича Вишневого, младшего его сына. Насколько я наблюдал в Институте имени А. А. Вишневого, проблемы отцов и детей не было.

Всего не упомнишь, о чем говорили. Кроме упомянутых, гостями были композитор Кирилл Владимирович Молчанов с женой Мариной Владимировной. За столом велась беседа людьми высшего профессионального уровня, признанными авторитетами, знатоками театра,

музыки, медицины. Сознаюсь, моему самолюбию льстило, что все гости с таким интересом поддерживали футбольную тему. Даже дамы. Я же видел, что это не дань вежливости. И помнится, испытывал некоторую неловкость, защищая не очень уж убедительную позицию, завоеванную нашим футболом: только что на Мексиканском чемпионате мира проиграли Уругваю, заняв пятое место.

– Он же начальник команды, как ему не хвалить сегодняшний футбол, – подзадоривал меня Яншин.

Вскоре я мог высказывать свое мнение без оглядки на занимаемое положение.

В гостинице «Юность» проводилась очередная конференция Федерации футбола, членом президиума которой я состоял более десятка лет. Что то витало в воздухе настораживающее. Возникали какие то недомолвки на вопросы по предстоящей реорганизации в руководстве футболом. Технический секретарь, ведающий подготовкой документации, что то уклончиво недоговаривал. Все ждали разъяснений, зная по кулуарным шуткам об изменении структуры управления футболом, а с ней и об изменении положения о федерации. Народу понаехало со всех концов страны. Как всегда в таких случаях, слухов было много.

Перед началом официальной части мне показали человека с периферии, высказав предположение, что он кандидат на руководящий пост. Но никто из моих коллег по президиуму, людей, проработавших в футболе по тридцать сорок лет, ничего толком не знал. Даже Владимир Васильевич Мошкаркин и Валентин Александрович Гранаткин были в неведении. Вопрос еще не был готов.

Как принято, еще не сдавшему полномочия президиуму было поручено вести конференцию. Пришлось в числе других проследовать на сцену. За столом рядом со мной сидел невысокий с периферии. Самым малодушным поступком в вопросах личного достоинства считаю попытку, не подавая вида, заглянуть в список, принесенный из за кулис, с фамилиями вновь рекомендуемых кандидатов. Я скосил глаза вправо, лист лежал невдалеке, но человек с периферии перевернул бумагу текстом вниз. Почудилось недоброе. Когда то подобное ощущение нестерпимой неловкости я уже испытал. Взглянув из за стола президиума в переполненный зрительный зал, вспомнил. Тридцать лет назад. Заполненные трибуны стадиона «Динамо», Яншин, Олеша, Бернес и я, пробирающийся к ним, в состоянии постыдной неловкости. История повторялась с той лишь разницей, что тогда меня, игрока, внезапно нокаутировал тренер, сейчас меня, общественного деятеля, нокаутирует невысокий человек с периферии. Первым движением души было уйти. Но жизнь научила сдерживать порывы. У каждого свой крест и своя Голгофа – пришла в голову чья то философическая сентенция. Я остался сидеть за столом президиума, зная, что крестная минута еще впереди, когда будут читать пофамильно список рекомендуемого нового президиума.

И она пришла, и я, как тогда в раздевалке, после каждой фамилии ждал, что вот сейчас назовут меня.

Не назвали. И сконфуженно, не знаю почему: моя футбольная совесть была чиста, но именно сконфуженно, словно совершив недостойное, на многочисленные вопросы «почему?», я отвечал, потому что молодым надо дорогу уступать. На что резонно возражали – в новом президиуме постарше вас люди есть.

Я это знал. И отлично понимал, что на футбольном поле, как и на поле общественной деятельности, возрастные лимиты, устанавливаемые волевыми решениями, – мера необоснованная, надуманная – Стэнли Метьюз в пятьдесят лет играл, как юноша.

Просто я получил очередное ранение и испытывал естественную моральную боль, однако верил, что исцеление наступит: футбол как жизнь – на смену праздникам приходят будни, а потом опять вернутся красные дни.

Пришлось сменить место на трибуне. Из правой ложи, для руководящего футбольного состава, пересест в ложу для общественного актива, так сказать, для среднего командного состава.

Мои взгляды на футбол не изменились. По-прежнему я считал, что наш футбол в своем развитии не отстает от других видов спорта по уровню мастерства исполнителей, просто ему труднее пробиваться вверх: футбол единственный вид спорта, участвующий в чемпионатах мира для сборных профессиональных команд многих десятков стран нашей планеты. Я проверяю свое мнение в кругу друзей, близких знакомых, то есть людей сорокапяти-пятидесятилетнего возраста. Они успели познакомиться и с довоенным футболом и не утратить свежести восприятия от футбола современного, скажем последнего десятилетия.

У футболистов и вообще у спортсменов нет своего дома, где можно было бы общаться, как говорится, с пользой для себя и для дела. Юрий Карлович Олеша ушел из жизни, и перестало кафе «Националь» быть местом притяжения для любителей услышать остроумное слово и что-то сказать самому.

Но зато футбол протоптал широкую колею в Центральный дом литераторов. Бессменный директор дома, Борис Михайлович Филиппов, «домовой», как он сам называет себя, сумел сохранить в ЦДЛ лучшие традиции «Кружка» из Старопименовского переулка – гостеприимство, благорасположение.

И может быть, не последним завоеванием футбола является именно то обстоятельство, что он нашел довольно широкое признание в литературе. Теперь уже не только Юрий Карлович мог бы говорить, что он ввел в ткань художественного произведения тему о футболе. Виднейшие представители литературы, прозаики и поэты, в своем творчестве касаются темы спорта, футбола. Лев Кассиль, Юрий Трифонов, Константин Ваншенкин, Евгений Евтушенко, Михаил Луконин и многие их однополчане по профессии вполне квалифицированные ценители футбола и в своем творчестве и уж, конечно, в изустных дискуссиях о нем.

Мне нередко приходилось слышать их тонкие суждения об игре, об отдельных футболистах.

Юрий Валентинович Трифонов первым ввел в обиход термин «интеллектуальный футбол». Действительно, сейчас примитивное мышление просматривается на фоне игры, как резко звучащий диссонанс, обличающий творческую ограниченность исполнителя.

В интересной повести Константина Яковлевича Ваншенкина, напечатанной в журнале «Москва», затрагивается очень серьезная для футбольной жизни команды тема: кто есть кто. Герой – премьер, забивший гол под гром оваций, или незаметный труженик на поле, организующий своей неутомимой черновой работой успех лидеру? Их много, незаметных тружеников на футбольном поле, но как мало мы о них говорим и пишем: а они действительно заслуживают большего внимания.

Эта небольшая в общем объеме творчества Константина Яковлевича Ваншенкина работа лишний раз подтверждает позицию автора и в поэзии и в прозе: справедливое распределение добра, тепло и внимание к людям. Каждому по заслугам, по его труду.

Он и в жизни дружелюбный, стойкий, внимательный, отзывчивый. И, глядя на него, не поймешь, как это все в нем вместились. И твердость руки писателя, и мягкость сердечной лирики, и влюбленность в жизнь, в людей, которых он защищал в годы военных испытаний, будучи бесстрашным десантником. Какая амплитуда переживаний – «я люблю тебя жизнь» и вооруженный десант, прыжок с парашютом в фашистский тыл!

Николая Константиновича Доризо в разряд неистовых болельщиков футбола не зачислишь. Он не частый гость на стадионе. Но и ему не чужды страсти побед и поражений. Мне нравится его увлеченность, с которой он говорит о проблемах бытия, перекидывая мостики от ямбов и хореов к вратарям и нападающим. Он подарил мне к семидесятилетию свои стихи, оканчивающиеся строчкой, восхитившей автора простором, как он сказал, для романтических ассоциаций – «...сын егеря, женатый на цыганке!».

Еще молодой, на двадцать лет моложе меня, он с грустной ноткой читает новое стихотворение:

Выходит возраст мой на линию огня!

Как дом с порога, как роман с пролога,
Газету начинаю с некролога,
Живых друзей все меньше у меня!
Но тут же пылко восторженно:
Я все время живу накануне чего то!

Какое замечательное самоощущение. Чувство безостановочного движения, когда чудится, будто главная станция где то впереди, по видимому, свойственно творческим работникам. И спортсменам оно не чуждо. Мне всегда казалось, когда играл, что лучший гол мною еще не забит. Когда тренировал, что лучшая победа не достигнута. Несмотря на солидный возраст, я и сейчас так же думаю.

Так рассуждают и болельщики, безраздельно отдающие свои симпатии навечно любимой команде. Художник, литератор Николай Львович Елинсон, в каком бы положении ни находился «Спартак», в звании ли чемпиона страны или стоящим на выбывание из высшей лиги, все равно полон оптимизма и в заключение беседы о команде произнесет: «Спартак» еще последнего слова не сказал».

Такая верность, привязанность к команде украшает ее почитателя. Когда я прихожу в день матча в подтрибунное помещение в Лужниках, я уже знаю, кого я сегодня из друзей увижу наверняка. Если играет «Динамо» – значит, майор милиции Виктор Павлович Павлов здесь. Если «Спартак» – увижу юрисконсульта Бабусина Николая Николаевича, если «Торпедо» – административного работника Николая Сергеевича Шишкова. Иногда они сходятся вместе. Их общий «стаж» посещения футбольных состязаний более ста лет. Они помнят, знают весь наш футбол от приезда басков. Они никогда друг друга не убедят, чья команда лучше. Но они могут встать над схваткой и быть свободными от пристрастия, когда речь заходит о сборной команде страны. Достоинство их мнения в том, что они непосредственно в футболе не работают, не связаны ответственностью и соблюдением спортивной субординации. Их мнение проистекает из зеркально чистого источника: из непосредственных наблюдений без каких либо превходящих обязательств. Оно может быть ошибочно, но абсолютно объективно, в том числе и в смысле выдвижения кандидатов своей команды в сборную страны.

Бесконечное множество раз, будучи начальником сборной, я проверял свои соображения по поводу комплектования команды на таком негласном совете тренеров. Иногда мои кандидаты подвергались резкой критике. Чаще встречали поддержку, и я укреплялся во мнении. Не раз убеждался я, что со стороны видней. Этой стороной и является общественность: федерация футбола, тренерские советы, клубы любителей. К сожалению, за последние годы эти общественные институты существуют лишь номинально, оказывая мало влияния на развитие футбола. Руководители команд, тренеры, начальники в большинстве своем не очень жалуют добровольных помощников. Они уже свыклись с установившейся практикой во всем опираться на непререкаемый авторитет старшего тренера, методы руководства которого иногда граничат с самоуправством. Ведь известен случай, когда тренер оценил двойкой игру забившего решающий гол защитника за нарушение разработанного на макете плана.

Конечно, жизнь внесет поправки. Футбольная команда не может замкнуться в своем узком мирке тренера и футболистов. Без благотворного влияния извне, со стороны общественности, комсомола, той питательной среды, формирующей характер спортсмена, коллектив больших задач не решит. Думаю, это истина, не требующая доказательств.

Я присутствовал на встрече актива московского АЗЛК со сборной командой Советского Союза для заключения договора о социалистическом соревновании. Заводской коллектив принимал шефство над командой футболистов. В спортивном зале на трибунах было тесно. В торжественной обстановке Никита Павлович Симонян от лица команды и представители дирекции и заводской общественности подписали взаимные обязательства. В ярких лучах прожекторов, освещавших присутствующих в зале гвардейцев советского

футбола, как бы просвечивалась главная станция назначения на трехлетнем пути – московская Олимпиада 80. Это наше недалекое будущее. В тот момент, когда читался текст обязательств и я глядел на возглавлявших шеренгу футболистов Анатолия Конькова, Олега Блохина и на заполнивших трибуны заводских физкультурников, у меня укрепилась уверенность в том, что к станции назначения наш футбольный флагман подойдет в отличном состоянии. Правда, такая уверенность и раньше меня никогда не покидала, а надежды не сбывались. Но ведь были же и Мельбурн и Париж. Так почему же такому не повториться. Во всяком случае, с АЗЛК я уезжал с убеждением, что курс на Олимпиаду 80 кормчие наметили правильный.

А жизнь идет по своим неумолимым законам. Строчка поэта, к сожалению, неопровержима: «Живых друзей все меньше у меня!»

...Был чудный летний день, когда в городе грешно сидеть. Исидор Шток увез меня в Переделкино. Он жил на даче, на которой я бывал еще в довоенные времена, у ее бывшего арендатора Александра Николаевича Афиногенова, виднейшего советского драматурга, автора на шумевшей в тридцатых годах пьесы «Страх». Александр Николаевич погиб в середине октября 1941 года во время бомбежки Москвы. На даче еще проживала матушка драматурга – Антонина Николаевна – с двумя осиротевшими внучками Джоей и Сашей. Их мать тоже трагически погибла при возвращении в Одессу во время пожара, вспыхнувшего на пароходе.

Я поехал на дачу, соблазненный, помимо погоды, возможностью встретить там Анну Андреевну Ахматову, с которой Исидор Владимирович состоял во взаимно дружественном знакомстве. На его московской квартире я уже имел возможность познакомиться с Анной Андреевной, к стихам которой я с самого раннего возраста был равнодушен и довольно много с детства помнил наизусть. При первом знакомстве поэтесса поражала монументальностью, я бы сказал, царственностью осанки (она сидела в кресле, как королева на троне), величественностью облика, и вместе с тем аристократической простотой в манере держаться. Прославленная поэтесса обладала свойством изысканной приветливости.

В тот день Анна Андреевна у Штока не появилась: занемогла. Жена Исидора Александра Николаевна, вернувшись из магазина, сказала, что встретила Фадеева. «Узнав, что вы здесь, обещал сейчас прийти», – обрадовала она меня.

Я не мог не обрадоваться. Двенадцать лет не виделись. Вот он появился откуда то из зеленого кустарника, пролез сквозь отверстие в заборе, отделявшем соседнюю дачу. Одет по летнему, в светлой рубашке, с засученными рукавами. Те же седые, в голубизну, волосы, молодые, не выцветшие, а сияющие по прежнему голубые глаза, тот же, розовощекий, улыбающийся – голубой Сандро! Внешне каким он был, таким он и остался. Подтянутый, стройный, свежий, как будто не двенадцать лет не виделись, а только вчера расстались.

Мы долго лежали на траве. Вспомнили и сухумский пляж и Пахомыча, поделились житейскими переживаниями в трудные военные годы, и горестями, и радостями.

Мы не ощущали себя стариками. Наоборот, как мне казалось, были полны надежд на будущие свершения. Правда, Саша, всегда готовый подшутить над собой, сказал, что он теперь не генеральный секретарь, а «один из одиннадцати». У нас теперь, мол, целая футбольная команда секретарей. Пожаловался на ноги – «побаливают». Не без сожаления заметил, что в категорической форме переведен на режим с сухим законом, как «Миша Яншин», и залился своим звонким смехом: вот, дескать, до чего мы дожили.

Я передал ему привет от Ивана Макарьева, его сподвижника по литературным, еще рапповским временам. Один из секретарей РАППа, Макарьев много мне рассказывал о битвах на литературных фронтах, плечом к плечу с Фадеевым, Киришоновым, Авербаховым, в годы разделения на «напостовцев», «попутчиков» и других течениях нашей литературы. Иван работал в Норильске вместе со мной в должности диспетчера, и по ночам мы находили время, чтобы поговорить об общих московских знакомых, которых у нас хоть пруд пруди. Фадеев не удивился: знал, Макарьев или вернулся уже, или должен был вот вот вернуться из Норильска в Москву.

Расставались бодро. «Играть всегда надо по большому счету», – вспомнили мы нашу первую встречу и, крепко пожимая друг другу руки, условились обязательно созвониться...

Вскоре последовал звонок, и я услышал в телефонную трубку: «Фадеев сегодня покончил с собой» – это мне горестным голосом сообщил Яншин.

Мне и в голову не могло прийти, что тогда на штоковской даче в Переделкине мы обменялись с ним последним рукопожатием.

Не хочется заключительную главу книги делать мавзолеем для ушедших друзей. Но боль утрат из сердца не выбросишь. Не сидят рядом со мной на стадионе Александр Васильевич Кожин, с которым более полувека назад мы мальчишками выбежали на поле и встали друг против друга, непримиримо скрестив руки на груди, он левый инсайд детской команды ЗКС, а я правый, команды МКС на Красной Пресне, ни Филипп Миронович Подольский, с которым мы вместе вспахивали футбольную целину в Норильске. Нет Арнольда Григорьевича Арнольда, Павла Павловича Тикстона, людей, имевших пожизненную привязанность к футболу. Нет многих, которые отдали часть своего сердца загадочно притягательной игре. Но природа не терпит пустоты. Она заполняет образовывающиеся вакуумы. И мы все время живем накануне чего то. На каждом новом этапе переживая горечь ранения и радость очередного выздоровления.

Не только траурные события посещают нас со временем. Приходят и юбилеи. Удел людей старшего возраста мириться с необходимостью их посещения и организации. На своем шестидесятилетии в Центральном доме литераторов я был приятно обрадован. Меня пришли поздравить артисты всех московских театров. Разумеется, подавляющее большинство поздравлявших были мне лично знакомы. Через десять лет на моем семидесятилетии представительство не сократилось, наоборот, связь времен, считая театральные поколения, еще более расширилась. Маститый представитель Малого театра Михаил Иванович Жаров был в сопровождении младшего поколения, представленного Виктором Ивановичем Коршуновым. От вахтанговцев Евгений Рубенович Симонов, возглавивший руководство художественно творческой работой театра, как преемник фамильной эстафеты от Рубена Николаевича Симонова, давнего друга нашей семьи. Художественный театр отозвался любезным посещением в лице Олега Николаевича Ефремова и Вячеслава Ивановича Невинного.

Не буду кокетничать и писать, что это не льстило моему самолюбию. Льстило и даже очень льстило. Однако я оказался бы тем самовлюбленным тренером, который говорит «я выиграл», «я завтра играю», если бы вместе с удовлетворенным самолюбием не понимал значения происходящего. А именно, что футбол признан старшими членами семьи, работниками культуры и искусства, как близкий родственник. В конечном счете это и есть его главное завоевание.

Не пришел поздравить меня Михаил Михайлович Яншин. Как то он позвонил мне из больницы. Пожаловался, что, отправляясь из дома на очередной профилактический курс обследования общего состояния здоровья, споткнулся, влезая в машину, и повредил себе руку. Лечение руки притормозило прохождение профилактического курса. Через некоторое время поехал с Нонной Владимировной навестить его в Кунцевской больнице. Он еще был бодр и все порывался играть в спектакле «Соло для часов с боем». Некоторое время спустя я приехал навестить его вторично. Передо мной был другой Яншин. Комплекс недомоганий разрушал изнутри исполинскую натуру. Но он вел битву за жизнь упорно, сердясь на затянувшийся процесс профилактики. Его бойцовский характер не мирился с вынужденным творческим перерывом. Нонна Владимировна стойко несла бессменную вахту в палате больного. Я уехал с тяжелым сердцем. До последнего дня мы перезванивались по телефону. «Мастер, – слышал я его ослабевший голос, – ну, что там слышно в ваших делах?»

Ничего утешительного я ему сказать не мог. «Спартак» явно стоял, по таблице результатов в чемпионате страны, на вылет из высшей лиги. А потом позвонила Нонна Владимировна, и я почувствовал, что из моего сердца выпала жизненно важная частица.

А жизнь идет, она не хочет, да и не может останавливаться. Новые заботы посетили любителей футбола. Впервые мы не попали в финал мирового чемпионата. Теперь надо определять правильный курс на Олимпиаду 80. Скептики говорят, что мастерство наших футболистов недостаточно высоко. Но оказалось же оно достаточным, чтобы выиграть в Мельбурне олимпийское золото, а через четыре года в Париже – европейское. А включение наших игроков в символические сборные мира, Европы. А награждения Льва Яшина и Олега Блохина золотыми наградами как сильнейших в данном году футболистов континента. Нет, такие мастера на пустом месте не произрастают. Просто мы без больших потерь не можем собрать урожай. Надо более организованно объединять усилия. Дело не простое, но вполне возможное.

Я начал книгу с вопроса о невозможности понять силу притягательности кожаного кудесника – футбольного мяча, распространяющего свой магнетизм даже на внука двухлетнего возраста и продолжающего воздействовать на тетюшку ста лет. Оставим этот феномен неразгаданным. «И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть». Важно, что эта притягательность не размагничивается. Правда, любовь временами охлаждается. Бывает, что на трибунах сидеть просторно. Это и есть первый сигнал к объединению усилий. Неиспользуемые силы общественного актива надо привести в действие. И я убежден, мы будем испытывать радость выздоровления от полученных в предыдущем четырехлетнем цикле чувствительных, но не смертельных ран. Футбол как жизнь, его уничтожить невозможно. Но он расцветает пышным цветом только в климате полного взаимоуважения руководителей, игроков, тренеров, судей и зрителей друг к другу.